

**ПИСЬМО  
К Д'АЛАМБЕРУ О ЗРЕЛИЩАХ**

**Ж.-Ж. РУССО**

*гражданин Женевы*

**Г-ну д'АЛАМБЕРУ,**

*члену Французской Академии,  
Королевской Академии наук в Париже,  
Прусской королевской Академии наук,  
Королевского общества в Лондоне,  
Шведской королевской Литературной Академии  
и Болонского Института.*

О СТАТЬЕ «ЖЕНЕВА» В СЕДЬМОМ ТОМЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  
И, В ЧАСТНОСТИ, О ПРОЕКТЕ УЧРЕДИТЬ  
ТЕАТР КОМЕДИИ В ЭТОМ ГОРОДЕ.

Di meliora piis. erroremque hostibus illum <sup>1</sup>.

Вергилий, Георгики, III, 513.

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Мне не следовало бы на этот раз брать в руки перо без крайней необходимости. Для меня нет ни выгоды, ни удовольствия нападать на г-на д'Аламбера. Я питаю к нему уважение, восхищаюсь его талантом, люблю его произведения, ценю его добрые отзывы о моей стране. Сам удостоенный его похвал \*, я из простой вежливости чувствую себя обязанным проявлять к нему со своей стороны всяческое внимание. Но обязанность быть внимательным заглушает веление долга лишь у тех, для кого вся нравственность сводится к внешнему. Истина и спра-

---

<sup>1</sup> Боги, храните благих, а безумье врагам насылайте (лат.). (Перев. С. В. Шервинского.)

ведливость — вот первые обязанности человека. Всякий раз, как особые соображения заставляют его отступить от этого правила, он виновен. Но могу ли я оказаться виновным, исполняя свой долг? Пусть ответит мне тот, у кого есть отечество, которому он служит, и чувство долга, более сильное, чем боязнь не угодить людям.

Так как Энциклопедия далеко не у всех под рукой, я выпишу здесь тот отрывок из статьи «Женева», который заставил меня взяться за перо. Он скорее заставил бы меня выпустить перо из рук, если бы я искал литературного успеха; но я дерзаю домогаться успеха в другой области, там, где не опасаясь ничьего соперничества. Читая этот отрывок, взятый сам по себе, немало читателей удивится тому рвению, коим он продиктован \*. Читая его в тексте, обнаруживаешь, что театр, которого в Женеве нет, хотя он мог бы там быть, занимает в статье одну восьмую места, отведенного предметам, которые там имеются.

«Театральных представлений в Женеве не допускают: не то чтоб они сами по себе вызывали неодобрение; но опасаются, как бы актеры не распространили среди молодежи дух щегольства, расточительности и распущенности. Между тем разве нельзя было бы предотвратить это нежелательное явление строгими и неукоснительно соблюдаемыми законами о поведении актеров? Тогда Женева имела бы и зрелища, и добрые нравы, пользуясь преимуществами того и другого. Театральные представления воспитывали бы вкус граждан и сообщали бы им утонченность манер, деликатность чувств, которых без этого трудно добиться; при этом литература выиграла бы, а распутство ничего бы не приобрело, и Женева соединила бы спартанское целомудрие с афинской образованностью. Еще одно соображение, достойное столь мудрой и просвещенной республики, должно было бы побудить ее разрешить театральные представления. Как раз варварский предрассудок относительно актерской профессии, состояние какой-то униженности, в котором мы держим людей, столь необходимых для развития и самого существования искусств, является, безусловно, одной из главных причин, способствующих той распущенности, в которой мы их упрекаем: удовольствиями они стараются вознаградить себя за отсутствие уважения, в котором отказывают их сословию. В нашем обществе актер, отличающийся порядочным поведением, вдвойне почтенен; но его почти не удостоивают внимания.

Откупщик, глумящийся над нищетой и питающийся ею, придворный, раболепствующий и не платящий долгов, — вот каких людей ставим мы выше всего. Если бы актеров не только допускали в Женеву, но, сперва сдерживая их мудрыми пра-

вилами, затем стали бы поощрять и даже, в меру заслуг, ценить и, наконец, полностью приравняли их к остальным гражданам, этот город скоро стал бы счастливым обладателем одной редкости, которая, однако, редка лишь по нашей собственной вине: обладателем труппы актеров, достойных уважения. Добавим, что труппа эта скоро стала бы лучшей в Европе. Много лиц, наделенных хорошим вкусом и любовью к театру, но не решающихся пойти на сцену из боязни уронить себя в наших глазах, устремилось бы в Женеву, чтобы, не только не позоря себя, но вызывая к себе уважение, развивать свой талант, столь приятный и необычный. Этот город, пребывание в котором многие французы находят теперь чрезвычайно скучным из-за отсутствия театральных зрелищ, стал бы тогда приютом благопристойных наслаждений, как в настоящее время является приютом философии и свободы; и приезжие уже не удивлялись бы тому, что там, где воспрещены приличные и скромные театральные представления, разрешают разыгрывать бессмысленные, грубые фарсы, равно противные хорошему вкусу и добрым нравам. Больше того: мало-помалу пример женевских актеров, их скромный образ жизни и уважение, которым они пользуются, послужили бы образцом для подражания среди актеров других стран и уроком для людей, относившихся к ним до тех пор столь строго и даже презрительно. Не было бы такого положения, когда, с одной стороны, правительство содержит их, а с другой — в них видят отверженцев; наши священники отказались бы от обыкновения отлучать их от церкви, а наши горожане — смотреть на них сверху вниз; и маленькая республика прославилась бы тем, что просветила бы всю Европу в этом вопросе, быть может, более существенном, чем принято думать».

Вот картина, бесспорно самая приятная и привлекательная, какую только можно себе представить; но в то же время — вот самый опасный совет, какой только можно нам дать. По крайней мере таково мое мнение и таковы доводы, изложенные в этом письме. С каким пылом отдастся молодежь Женевы, под влиянием столь веского авторитета, идеям, к которым она и без того слишком склонна! Сколько молодых женевцев, добрых граждан, после выхода в свет этого тома, несомненно, ждут лишь благоприятного случая, чтобы содействовать созданию театра, предполагая оказать этим услугу своей родине и чуть ли не всему человечеству. Вот причина моей тревоги, вот зло, которое я желал бы предотвратить. Я отдаю должное намерениям г-на д'Аламбера; надеюсь, что он ответит мне тем же. У меня так же мало желания досадить ему, как у него — желания причинить нам вред. Но в конце концов, даже заблуждаясь, разве не должен я действовать и говорить так, как под-

сказывает мне совесть и разумение? Неужели было бы лучше промолчать? И я мог бы сделать это, не изменяя своему долгу и отечеству?

Для того чтоб иметь право молчать в подобных обстоятельствах, мне не следовало бы брать в руки перо по менее существенным поводам. О безмятежная неизвестность, тридцать лет составлявшая мое счастье, если бы я сохранил верность тебе; если бы никто не знал о моих отношениях с издателями Энциклопедии, о том, что я писал для нее статьи, что имя мое стоит рядом с именами других ее авторов; если бы моя пламенная любовь к родной стране была менее известна, только тогда могли бы подумать, что статья «Женева» осталась мной незамеченной и мое молчание не дало бы повода считать, будто я разделяю высказанные в ней взгляды. Но прошлого не изменишь, и я вынужден поднять свой голос, выступить против того, с чем решительно несогласен, чтобы мне не приписали чуждых взглядов. Соотечественники мои не нуждаются в моих советах, я хорошо это знаю; но я — я нуждаюсь в том, чтобы отстоять свою честь, доказав свое полное единомыслие с ними в вопросах морали.

Я сознаю, насколько это произведение далеко не только от того, каким бы ему надлежало быть, но и от того, что я мог бы сделать в более счастливые времена. Столько обстоятельств соучаствовало в удержании его на уровне ниже того среднего, который был доступен мне в прошлом, что я удивляюсь, как оно не получилось еще хуже. Я писал для моего отечества: если бы рвение и впрямь способно было заменить талант, я написал бы лучше, чем когда-либо; но я знал, что требуется, и не мог этого осуществить. Я бесстрастно высказал истину; кому какое до нее дело? Печальная рекомендация для книги! Чтобы принести пользу, надо быть приятным, а перо мое утратило эту способность. Иные станут ехидно отрицать самую возможность для меня такой утраты. Пусть; но я сам чувствую свой упадок, а упасть можно только с высоты.

Прежде всего речь здесь идет не о пустой болтовне на философские темы, а о некоей практической истине, важной для целого народа. Речь идет о том, чтоб обратиться не к узкому кругу людей, а ко всему обществу; и не о том, чтобы заставить мыслить других, а о том, чтобы ясно объяснить свою собственную мысль. Пришлось поэтому изменить стиль: чтобы быть как можно лучше понятым всеми, я на меньшее содержание потратил большее количество слов и, стремясь к ясности и простоте, оказался вялым и многословным.

Первоначально я имел в виду ограничиться одним, от силы двумя печатными листами: но, начав второпях и видя, что тема разрастается под моим пером, дал ему полную волю. Я был

болен, охвачен унынием; и хотя очень нуждался в рассеянии, однако чувствовал в себе так мало сил мыслить и писать, что, если бы не сознание долга, меня поддерживавшее, готов был сто раз бросить рукопись в огонь. От этого я стал менее взыскателен к себе; я начал искать в своей работе развлечения, которое сделало бы ее более сносной. Я хватался за каждую представлявшуюся мне возможность отступления в сторону, причем забывал, что, стараясь рассеять свою собственную скуку, быть может, приурочиваю ее для читателя \*.

Вкуса, разборчивости, тщательной отделки — в этом труде не найти. Живя в одиночестве, я не мог никому показать его. У меня был строгий и справедливый Аристарх; у меня его больше нет<sup>1</sup>, и я не хочу другого; \* но я никогда не перестану жалеть о нем, и его не хватает еще больше моему сердцу, чем моим сочинениям.

Одиночество успокаивает душу и умиряет страсти, порожденные светской суетой. Вдали от возмущающих нас пороков о них говоришь с меньшим негодованием; вдали от грозящих нам бед меньше из-за них тревожишься. С тех пор как я больше не встречаюсь с людьми \*, я почти перестал ненавидеть злых. К тому же зло, которое они причинили мне, отнимает у меня право дурно о них говорить. Отныне я должен прощать, чтобы не уподобиться им. Бессознательно я подменил бы жажду справедливости жаждой мести; лучше все забыть. Надеюсь, у меня не обнаружат больше той резкости, за которую меня упрекали, но которая заставляла читать меня; я согласен, чтоб меня меньше читали, лишь бы жить в мире и спокойствии.

К этим соображениям присоединяется еще одно, более горькое, которое я напрасно пытался бы скрыть: публика, помимо моего желания, все равно заметила бы его. Если среди работ, вышедших из-под моего пера, это сочинение еще ниже остальных, виной тому не столько обстоятельства, сколько я сам: дело в том, что здесь я ниже себя. Телесные недуги истощают душу; страдая, она теряет жизненную энергию. Минута преходящего возбуждения вызвала во мне кое-какой проблеск таланта; он поздно возник и рано угас. Вернувшись в естествен-

---

<sup>1</sup> Ad amicum etsi produxeris gladium, non desperes; est enim regressus ad amicum. Si aperueris os triste, non timeas; est enim concordatio: excepto convicio, et improprio, et superbia, et mysterii revelatione, et plaga dolosa. In his omnibus effugiet amicus. (Ecclesiastic XXII, 26, 27.)

Если ты на друга извлек меч \*, не отчаивайся: ибо возможно возвращение дружбы. Если ты открыл уста против друга, не бойся: ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, гл. 22, ст. 23—25.)

ное свое состояние, я снова впал в ничтожество. Мне принадлежало только мгновение, оно прошло; я позорно пережил себя. Читатель, если вы отнесетесь к моему последнему труду снисходительно, то обласкаете своим радушием мою тень: что касается меня, то я больше не существую \*.

Монморанси, 20 марта 1758.

Ж.-Ж. РУССО

*гражданин Женевы*

Г-ну д'АЛАМБЕРУ

Сударь, я прочел с удовольствием вашу статью «Женева» в седьмом томе Энциклопедии. При перечитывании, доставившем мне еще большее удовольствие, у меня возникли кое-какие соображения, которые мне захотелось предложить, с вашего разрешения, вниманию публики и моих сограждан. У этой статьи много достоинств; но если похвалы, которыми вы удостоиваете мою родину, лишают меня права ответить вам тем же, моя искренность будет говорить за меня; разойтись с вами в некоторых пунктах — значит с достаточной ясностью высказаться по всем остальным.

Начну с того, которого я особенно не хотел бы касаться и разбирать который мне всего менее пристало, но о котором я, по указанным выше причинам, не имею права молчать.

Я имею в виду вашу оценку того вероучения, которого придерживаются наши священнослужители \*. Вы воздали этой почтенной корпорации великолепную, весьма справедливую хвалу, наиболее подобающую именно ей среди духовных корпораций всего мира и еще более подкрепляемую тем уважением, которое эти священнослужители проявили к вам, доказав, что любят философию и не боятся философов. Но, сударь, желая воздать людям почет, нужно делать это не на наш, а на их лад, чтобы они не оскорбились вредоносными похвалами, которые, хоть и высказаны с добрым намерением, однако задевают положение, интересы, взгляды или предрассудки тех, на кого направлены. Неужели вы не знаете, что слово «секта» звучит всегда уничижительно и что подобные обвинения, оставаясь редко бесследными для мирян, никогда не проходят бесследно для теологов.

Вы скажете, что значение имеют факты, а не похвалы, и что философ больше считается с истиной, чем с людьми. Но эта

предполагаемая истина не настолько очевидна и не настолько малозначительна, чтобы вы имели право выдвигать ее без веских оснований, а я не вижу, откуда их взять для утверждения, будто образ мыслей, которого официально придерживается и которым руководствуется в своем поведении та или иная корпорация, в действительности чужд ей. Вы скажете, что приписываете тот образ мыслей, о котором у вас идет речь, не всей церковной корпорации, а лишь нескольким лицам, но в немногочисленной группе несколько человек составляют всегда такую значительную часть, что вся группа носит на себе ее отпечаток.

Несколько пасторов в Женеве являются, по вашим словам, законченными социнианцами \*. Вот что объявляете вы во всеуслышание перед всей Европой. Смее спросить: а как вы это узнали? Это могло произойти лишь в результате ваших догадок, либо по свидетельству третьих лиц, либо, наконец, благодаря признанию самих пасторов, о которых идет речь.

Но в вопросах чисто догматических, не имеющих прямого отношения к нравственности, как можно судить о чужих религиозных убеждениях по догадке? Как можно судить о них даже со слов третьего лица, вопреки тому, что утверждает сам заинтересованный? Кто знает лучше меня, во что я верю и во что — нет? И к кому же следует обратиться за разъяснением этого, как не ко мне самому?

Если ожесточенный священник, сделав из разговоров и сочинений честного человека неоправданные, софистические выводы, преследует автора на основании этих выводов, он делает то, что ему положено, и это никого не может удивить; но неужели мы должны порочить порядочных людей по примеру какого-нибудь мошенника, подвергающего их травле, и к лицу ли философу подражать хитросплетениям, жертвой которых он сам так часто бывает?

Таким образом, остается предполагать, что те наши пастыри, которых вы объявляете законченными социнианцами, отрицающими существование вечных мук, сами познакомили вас со своим особым образом мыслей в этом вопросе. Но если бы образ мыслей их был действительно таков и они бы в этом признались, — то, конечно, сделали бы это негласно, в откровенных и вольных философских беседах; они поделились бы им с мыслителем, но не с автором, выступающим в печати. Следовательно, этого попросту не было и мое доказательство неопровержимо: ведь вы его опубликовали.

При всем том я вовсе не собираюсь ни судить, ни порицать доктрину, которую вы им приписываете. Я утверждаю только, что совершенно неправомерно приписывать им ее, если они сами открыто ее не признают, и прибавлю, что доктрина эта

не имеет ничего общего с той, которую они нам преподают. Я не знаю, что собой представляет социнианство, и не могу ни одобрять, ни осуждать его; [а на основании некоторых имеющихся у меня скудных сведений об этой секте и ее основателе испытываю к ней скорее чувство отчуждения, чем симпатии]\*. Но в общем я — сторонник всякой мирной религии, предписывающей своим последователям поклоняться Вечному существу согласно указаниям разума, которым оно нас наделило. Если человек не в состоянии верить в то, что считает абсурдом, — это вина не его, а его разума<sup>1</sup>, и как могу я полагать, что бог покарает его за нежелание держаться взгляда<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Я представляю себе принцип, который, будучи надлежащим образом обоснован, что вполне возможно, мгновенно выбил бы оружие из рук фанатика и суевера, утолив неистовую жажду прозелитизма, видимо воодушевляющую маловеров. Дело в том, что человеческий разум не имеет определенного общего мерил, и недопустимо, чтобы кто бы то ни было навязывал свое мерило в качестве руководства остальным.

Будем исходить из наличия доброй воли, без которой всякое обсуждение — праздная болтовня. До известного предела имеются общие принципы, очевидные для всех истины, и, кроме того, у каждого — свой собственный разум, определяющий его поведение, что отнюдь не приводит к скептицизму. Но в то же время общие границы разума не установлены и никому не дано контролировать разум другого, и тут уже самоуверенному догматику нет хода. Если бы удалось когда-нибудь примирить между собой материальные интересы, самолюбие и взгляды, тем самым был бы положен конец разногласиям между священниками и философами. Но, пожалуй, это оказалось бы невыгодным для тех и других: не будет ни преследований, ни споров; первым — некого мучить, вторым — некого убеждать. Хоть бросай ремесло!

Если меня теперь спросят, с какой стати я сам себе противоречу, я скажу, что обращаюсь к преобладающему большинству, высказываю истины практические, основываюсь на опыте, исполняю свой долг и, выразив свое мнение, не вижу ничего дурного в том, что не все с ним согласны. (*Прим. Руссо.*)

<sup>2</sup> Не следует упускать из виду, что я возражаю автору — не протестанту; и мне кажется, возражаю по существу, доказывая, что он вмещает нашим священнослужителям нечто такое, что как раз в нашей религии не дало бы никакого результата, а во многих других совершается неизбежно, само собой.

Мир умозрительный, не исключая геометрии, полон истин недоказуемых, но в то же время неоспоримых, так как разум, обнаруживающий их наличие, не в состоянии, так сказать, дотянуться до них через ограждающие их препятствия, а может лишь их усматривать. Таково учение о бытии божием, таковы таинства, принятые в протестантских общинах. Тайны, вопиющие против разума, как выражается д'Аламбер, — совсем другое дело. Сама их противоречивость заставляет их вернуться в его границы; он располагает всеми средствами, какие только возможны, чтобы понять, что этих тайн не существует: так как, несмотря на невозможность увидеть абсурдное явление, нет ничего очевидней абсурда. Вот что бывает, когда пробуют защитить одновременно два взаимопровергающих положения. Утверждая, что дюйм равен футу, вы не говорите ничего таинственного, темного, непонятного; напротив, вы говорите очевидный, отчетливо ощутимый абсурд, нечто



противного внушаемому им? Если бы какой-нибудь богослов явился и передал мне божье повеление считать, что часть больше целого, что мог бы я еще подумать, кроме того, что этот человек велит мне сойти с ума? Конечно, сторонник ортодоксальных взглядов, который не видит в тайнах никакого абсурда, должен верить в них; но если это социнианец, что можно ему возразить? Доказывать, что абсурда нет? Он прежде всего станет доказывать, что абсурдно рассуждать о том, чего невозможно понять. Что же делать? Оставить его в покое.

Меня также несколько не возмущает, что поклоняющиеся милосердному богу отвергают вечные муки, находя их несовместимыми с его справедливостью. Если при этом они толкуют вкривь и вкось места, противоречащие их мнению, лишь бы хоть как-нибудь отстоять его, то что им еще остается? Я принадлежу к самым пламенным и благоговейным почитателям величайшей из книг; каждый день она дарит мне утешение и расширяет мой кругозор, тогда как к остальным я испытываю больше чем отвращение. Но я утверждаю, что если бы Писание давало нам представление о боге, недостойное его, то в этом отношении надлежало бы отвергнуть Писание, как вы отвергаете в геометрии доказательства, приводящие к абсурду: ибо как бы ни был достоверен текст Библии, все же более вероятно, что он подвергся искажениям, чем то, что бог несправедлив или полон злой воли.

Вот, сударь, основания, не позволяющие мне порицать такой образ мыслей у вдумчивых и умеренных теологов, которым их собственное учение внушает мысль, что его не следует никому навязывать насильно. Скажу больше: взгляды, столь подходящие существу разумному и слабому, столь достойные создателя справедливого и милосердного, представляются мне заслуживающими предпочтения перед тупым повиновением, превращающим человека в животное, и варварской нетерпимостью, уже в этой жизни наслаждающейся мучениями тех, кого она обрекла на вечные муки в жизни будущей. В этом смысле я благодарю вас от имени моей родины за то, что вы признали наличие у ее священнослужителей духа философии и гуманно-

---

явно неверное. Какими бы доказательствами вы его ни подкрепляли, они не могут одержать верх над тем, которое опровергает его, так как оно диктуется непосредственно первичными понятиями, служащими основанием всякой человеческой уверенности. В противном случае разум, свидетельствуя против самого себя, заставил бы нас дать ему отвод; и не только не старался бы убедить нас в истине того или другого, но не позволил бы нам поверить в истину чего бы то ни было, поскольку самое начало веры оказалось бы разрушенным. Так что любой человек, к какой бы религии он ни принадлежал, заявляющий, что верит в такого рода тайны, либо лжет, либо не понимает, что говорит. (Прим. Руссо.)

сти, и за справедливость ваших суждений в этом вопросе. Тут я вначале согласен с вами. Но философский дух и терпимость<sup>1</sup> еще отнюдь не делают их еретиками. Когда вы называете их партией и приписываете им чуждые догмы, я не могу ни одобрить, ни поддержать вас. Пусть данная система делает даже честь своим сторонникам, я не рискну приписывать ее нашим пасторам, которые не разделяют ее, так как боюсь, что похвала, которую я, быть может, воздал бы им за нее, послужит для других основанием к весьма тяжкому обвинению и повредит тем, кого я имел намерение похвалить. Какое мне дело до чужих религиозных взглядов? Разве не слишком хорошо знаю я, как опасны эти безрассудные упреки? Сколько народа заболело о моих религиозных взглядах, обвиняя меня в недостатке веры, не дав себе труда разобраться как следует в моем сердце! \* Я не стану корить их самих за отсутствие таковой, поскольку одной из обязанностей, ею на меня налагаемых, является уважение к тайнам чужой совести. Будем судить о поступках людей, сударь, и предоставим богу судить об их религии.

Всем этим сказано, быть может, больше чем достаточно по вопросу, который не подлежит моему ведению и не является также темой данного письма. Священнослужители Женевы не нуждаются в чужом пере для своей защиты<sup>2</sup>, и если бы даже оно им понадобилось, то не на моем остановили бы они свой выбор; мне же подобного рода дискуссии слишком чужды по духу, чтобы меня могло привлекать участие в них; но заведя

---

<sup>1</sup> По вопросу о христианской терпимости можно рекомендовать главу под этим заглавием в одиннадцатой книге «Христианского вероучения» (la Doctrine chrétienne) проф. Верне\*. Там показано, по каким соображениям церковь должна проявлять еще больше осторожности и осмотрительности в критике религиозных заблуждений, чем в критике прегрешений против нравственности, и как в правилах этой критики сочетаются кротость христианина, разум мудреца и усердие пастора. (Прим. Руссо.)

<sup>2</sup> Мне пишут, что на днях они также выступили с публичным заявлением\*. Оно не дошло до меня, в мой укромный угол, но, по моим сведениям, публика встретила его весьма сочувственно. Таким образом, я радуюсь не только сознанию того, что первый воздал им должное, но и того, что мое мнение получило единодушную поддержку. Я прекрасно понимаю, что это заявление делает совершенно ненужным начало моего письма, а при любых других обстоятельствах, может быть, сделало бы его даже неуместным. Но, уже собираясь перечеркнуть его, я увидел, что, поскольку в нем идет речь о той же самой статье, которая вызвала данное письмо, прежнее соображение осталось бы в силе и мое молчание опять-таки могло бы быть принято за своего рода согласие. Поэтому я сохраняю эти свои размышления тем более охотно, что, хотя счастливый исход конфликта и делает их излишними, в общем они полны уважения к духовенству Женевы и содержат много полезного для жителей любой страны. (Прим. Руссо.)

речь о статье, где вы приписываете им взгляды, которых мы за ними не знали, мог ли я пройти мимо этого утверждения, не подав повод думать, будто я с ними согласен, тогда как дело обстоит как раз наоборот? Искренне радуясь тому, что у нас есть корпорация теологов философски мыслящих и мирных, — скорей даже служителей нравственности<sup>1</sup> и слуг добродетели, я испытываю ужас всякий раз, как возникает опасность их превращения в простых церковников. Нам важно сохранить их такими, как они есть. Нам важно, чтобы они сами наслаждались тем миром, к которому так приучили нас, и чтобы ненавистные богословские разногласия не нарушали больше ни их, ни наш покой. Нам важно, наконец, постоянно учиться на их уроках и их приемах той истине, что кротость и человечность — тоже добродетели, свойственные христианину.

Спешу перейти к вопросу менее важному и серьезному, но все же представляющему для нас значительный интерес и достойному нашего размышления; к тому же я в нем несколько более осведомлен и поэтому охотно займусь им: речь идет о проекте учредить в Женеве театр Комедии. Не буду излагать здесь своих догадок\* насчет причин, которые могли побудить вас обратиться к нам с предложением, столь противным нашим принципам. Каковы бы ни были ваши мотивы, меня здесь интересуют только наши, и если я позволю себе сказать что-либо на ваш счет, так только то, что среди всех философов, вы, конечно, первый<sup>2</sup>, который побуждал когда-либо свободный народ, маленький город и бедное государство взять на себя учреждение публичных зрелищ.

Сколько спорных вопросов вижу я там, где для вас существует лишь один, якобы разрешенный вами! Полезны или вредны зрелища сами по себе? Насколько согласны они с моралью? Может ли республиканская суровость нравов мириться с ними? Следует ли допускать их в маленьком городе? Является ли ремесло актера честным ремеслом? Могут ли актрисы вести себя так же скромно, как другие женщины? Служат ли хорошие законы достаточной гарантией от злоупотреблений? Можно ли эти законы соблюдать со всей строгостью? И т. д. В вопросе о влиянии театра всё — проблема, так как в

---

<sup>1</sup> Так аббат Сен-Пьер\* всегда называл духовенство, то ли имея в виду, что они действительно таковы, то ли указывая, чем им следует быть. (*Прим. Руссо.*)

<sup>2</sup> Из двух знаменитых историков — двух философов, дорогих сердцу д'Аламбера, современный, быть может, согласился бы с ним\*, но Тацит, которого он любит, над которым раздумывает, которого удостаивает своим переводом, важный Тацит, столь часто им цитируемый и так удачно используемый в качестве образца, за вычетом темнот, поступил ли бы он так же? (*Прим. Руссо.*)

спорах, им порождаемых, участвуют лишь представители духовенства с одной стороны да светские люди с другой, и каждый спорящий рассматривает его, исходя из своих предрассудков.

Вот, сударь, проблемы, которые были бы достойны вашего пера. Я, со своей стороны, не пытаюсь заменить его, ограничусь в этом очерке поисками ответов, которые благодаря вам стали для нас необходимостью, причем прошу вас помнить, что, высказывая, по вашему примеру, свое мнение, я выполняю свой долг перед родиной и что если мое суждение ошибочно, оно во всяком случае не может никому повредить.

Даже при беглом взгляде на такого рода заведения я сразу вижу, что театральное зрелище — это забава; но если верно, что человек нуждается в забавах, то — вы, конечно, согласитесь с этим — допустимы они лишь в меру их необходимости, а всякая бесполезная забава — зло для существа, чей век так короток и время драгоценно. С положением человека связаны свои радости, свойственные его природе и возникающие из его труда, отношений, потребностей, и радости эти, тем более полные, чем здоровее душа того, кто их испытывает, делают такого человека нечувствительным ко всяким другим. Как отец, сын, муж, гражданин, человек имеет обязанности, столь дорогие его сердцу, что ему не приходится бояться скуки. Хорошее употребление времени придает ему еще большую ценность, и чем разумнее им пользуются, тем меньше стремятся тратить его попусту. Поэтому-то постоянно убеждаешься, что привычка к труду делает праздность невыносимой, а чистая совесть гасит жажду легкомысленных забав; но недовольство собою, тягость безделья, потеря вкуса к простому и естественному — вот что порождает необходимость в посторонних развлечениях. Нехорошо, когда прилепляются всем сердцем к сцене, как будто сердцу не по себе у нас в груди. Самой природой был продиктован ответ варвара<sup>1</sup>, которому расхваливали великолепие римского цирка и учрежденных там игр. «Разве у римлян нет ни жен, ни детей?» — простодушно спросил он. Варвар был прав. В театр идут, чтобы провести время вместе, но как раз там-то и проводят время врозь: там забывают друзей, соседей, близких, для того чтоб увлечься выдумками, оплакивать несчастия мертвых или осмеивать живых. Но мне надо бы знать, что нынче такой язык не ко времени. Постараемся перейти на другой, более понятный.

Спрашивать, полезны или вредны зрелища сами по себе, — значит ставить вопрос слишком неопределенно: это значит рассматривать отношение, не определив величин, его составляющих. Зрелища создаются для народа, и только по их воздей-

---

<sup>1</sup> Златоуст, Проповеди на тексты Евангелия от Матфея, 38.

ствию на него можно судить об их абсолютных качествах. Возможны зрелища бесчисленного множества родов:<sup>1</sup> мы наблюдаем изумительное разнообразие нравов, темпераментов, характеров от народа к народу. Человек един, я признаю это; но человек, видоизмененный религиями, правительствами, законами, обычаями, предрассудками, климатом, так сильно отклоняется от самого себя, что среди нас не надо больше искать того, что полезно людям вообще, а надо искать то, что полезно им в такую-то эпоху и в такой-то стране. Так, пьесы Менандра, написанные для афинского театра, в римском оказались не ко двору; \* так, бои гладиаторов, при республике подогревавшие мужество и доблесть римлян, при императорах лишь пробуждали кровожадность и жестокость римской черни; один и тот же предмет, предложенный одному и тому же народу в разное время, сперва учил его пренебрегать своей собственной жизнью, а потом играть чужой.

Что касается характера театральных зрелищ, то он определяется доставляемым ими удовольствием, а не пользой. Если польза — налицо, тем лучше; но главная цель — понравиться, и если народ удалось развлечь, цель вполне достигнута. Одно это никогда не позволит предоставить такого рода заведениям все преимущества, на которые они стали бы претендовать, и величайший самообман — видеть в них некий идеал, который невозможно было бы осуществить в жизни, не оттолкнув тех, кого рассчитывали просветить. Вот где источник разнообразия театральных зрелищ, связанного с различием вкусов у разных народов. Народ мужественный, суровый и жестокий требует зрелищ, полных убийств и опасностей, где блещут отвага и хладнокровие. Народ свирепый и вспыльчивый хочет крови,

---

<sup>1</sup> «Бывают зрелища, которые заслуживают порицания сами по себе — скажем, бесчеловечные или бесстыдные, непристойные: такие имели иногда место у язычников. Но существуют также зрелища сами по себе безразличные, приносящие вред лишь в случае злоупотреблений ими. Например, в театральных пьесах нет ничего дурного, пока они дают лишь изображение человеческих характеров и поступков, с помощью которого можно было бы даже давать полезные и приятные уроки всем сословиям. Но если в них проповедуется нравственная распущенность, если лица, которые правят это ремесло, сами ведут развратную жизнь на соблазн окружающим, если эти зрелища поощряют тщеславие, лень, роскошь, бесстыдство, тогда становится ясным, что имеет место злоупотребление, и при отсутствии средств устранить или предотвратить его, лучше от такого рода забав совсем отказаться». («Христианское наставление», том III, кн. III, гл. 16.)

Вот тут вопрос поставлен правильно. Суть в том, чтобы установить, является ли распущенность неотъемлемым свойством проповедуемой на театре морали, неизбежны ли злоупотребления, коренятся ли помехи в самой природе вещей или порождаются причинами, поддающимися устранению. (*Прим. Руссо.*)

битв, диких страстей. Народ изнеженный — музыки и танцев. Народ чувствительный — любви и тонкого обхождения. Народ легкомысленный — шутки и смеха. *Trahit sua quemque voluptas*<sup>1</sup>. Им могут быть приятны лишь те зрелища, которые потакают этим склонностям, а нужны были бы такие, которые бы их умеряли.

Вообще говоря, сцена — это картина человеческих страстей, оригинал которой — во всех сердцах; но если бы художник не позаботился о том, чтоб этим страстям польстить, их изображение скоро оттолкнуло бы зрителей, так как им было бы тягостно узнавать самих себя в таком позорном виде. Если же он и рисует некоторые страсти отвратительными, то лишь те, которые составляют удел немногих и сами по себе вызывают естественную ненависть. Так что и тут автор удовлетворяет желания публики; отталкивающие страсти всегда служат для оттенения других, если не более законных, то по крайней мере более привлекательных. Человек, лишенный страстей или всегда над ними господствующий, никому не интересен, и уже замечено, что стоик в трагедии был бы несносен, а в комедии — самое большее смешон\*.

Пусть же не приписывают театру способность изменять чувства и нравы: он в состоянии лишь следовать им и украшать их. Автор, решивший вступить в противоречие с господствующим духом, скоро оказался бы автором для одного себя. Реформировав комедию, Мольер выступил против модников и причудников обоюго пола; но этим он нисколько не задевал вкусов публики;<sup>2</sup> он следовал им или развивал их, так же как в свое время Корнель. Прежний театр перестал отвечать вкусам публики, сохранив в век более утонченный свою первоначальную грубость. А так как со времени этих двух писателей господствующий вкус изменился, их шедевры, появившись они сейчас, неминуемо провалились бы. Пускай знатоки не перестают восхищаться ими, но если это восхищение разделяет публика, то скорей оттого, что стыдится от них отречься, чем благодаря действительному пониманию их красот. Говорят, хорошая

---

<sup>1</sup> «Каждого влечет своя страсть» \* (Вергилий, Буколики, II, 65).

<sup>2</sup> Сам Мольер дорого поплатился за попытку опередить свое время. Лучшее его создание не успело родиться, как уже было обречено на провал\*. Он слишком поторопился его поставить: публика еще не созрела для «Мизантропа». Все это основано на одной очевидной истине, а именно — народ часто держится навыков, которые он презирает или готов презреть, как только ему осмелятся подать пример. Когда в мое время осмеивали увлечение картонными паяцами, это было лишь повторением на сцене того, что думали люди, проводившие весь день за этой нелепой игрой. Но постоянные вкусы народа, его обычаи, его старинные предрассудки сцена должна уважать. Нарушение этого закона ни одному поэту не проходило даром. (*Прим. Руссо.*)

пьеса еще ни разу не проваливалась. Это верно; еще бы: ведь хорошая пьеса никогда не оскорбляет нравов<sup>1</sup> своего времени. Кто сомневается, что лучшая пьеса Софокла на наших театрах провалилась бы с треском? Невозможно встать в положение людей, которые на нас не похожи.

Любой автор, желающий показать нам чуждые нравы, старается, однако, приспособить свою пьесу к нашим. Без этой предосторожности его ждет неудача, и самый успех авторов, которые это предусмотрели, часто объясняется совсем не теми причинами, которые ему приписывает поверхностный наблюдатель. Неужели «Дикий Арлекин»\* так хорошо принят зрителями оттого, что им нравится здравый смысл и прямодушие главного персонажа, и разве среди них найдется хоть один, который хотел бы быть на него похожим? Напротив: пьеса хорошо принята потому, что потворствует их духу погони за новыми, оригинальными идеями. Но новее всего для них идеи, навеянные самой природой. Как раз отвращение к повседневному приводит их иногда к простоте.

Из этих предварительных замечаний следует, что театральное зрелище укрепляет национальный характер, усиливает естественные склонности и придает большую энергию всем страстям. С этой точки зрения можно было бы думать, что, раз это воздействие только усугубляет, но не изменяет установившиеся нравы, драматические представления благотворны для добрых и вредны для дурных людей. Но даже и тут в первом случае надо бы еще проверить, не перерождается ли страсть, при чрезмерном ее раздражении, в порок. Я знаю: поэтика приписывает театру как раз обратное, то есть очищение страстей через их возбуждение;\* но я что-то плохо это понимаю. Выходит, что прежде чем стать сдержанным и благородным, надо сперва быть и неистовым и сумасшедшим?

«Да нет, не в том дело,— говорят сторонники театра.— Трагедия, правда, стремится к тому, чтобы все изображаемые ею страсти волновали нас, но она не всегда хочет, чтобы наши переживания были тождественны с переживаниями персонажа, охваченного страстью. Чаще всего, напротив, цель ее — вызвать в нас чувства, противоположные тем, которыми она наделила свои персонажи». Они говорят, что если авторы злоупотребляют своею властью волновать сердца, вызывая нездо-

---

<sup>1</sup> Я говорю «вкус» и «нравы», не делая различия: хотя это не одно и то же, но у них всегда общее происхождение, и претерпевают они одни и те же перемены. Это не значит, что хороший вкус и добрые нравы господствуют одновременно,— положение, требующее проверки и обсуждения,— а то, что определенное состояние вкусов всегда соответствует определенному состоянию нравов — и это бесспорно. (Прим. Руссо.)

ровый интерес, то эта неправильность объясняется невежеством и развращенностью авторов, а не требованиями искусства. Наконец они говорят, что верного изображения страстей и сопутствующих им несчастий достаточно, чтобы мы стали затем избегать их со всем тщанием, на какое только способны.

Чтобы понять всю фальшь этих возражений, стоит лишь взглянуть в свое сердце и посмотреть, что там делается к концу трагедии. Волнение, тревога, жалость, испытываемые во время действия и длящиеся после его окончания, — разве такое состояние духа благоприятствует преодолению и укрощению страстей? Живые, трогательные впечатления, ставшие для нас привычными и постоянно повторяющиеся, очень ли они способны умерять наши чувства? Каким образом картина порождаемых страстями несчастий может вытеснить из нашего сознания картину радостей и восторгов, также ими порождаемых и к тому же разукрашенных авторами для придания пьесе большей привлекательности? Разве не известно, что все страсти — сестры, что довольно одной, чтобы пробудить тысячу других, и что подавлять одну при помощи другой — это верный способ открыть сердце всем остальным? Единственное оружие, которое могло бы служить очищению страстей, — это разум, но, как я уже сказал, на сцене разум не имеет никакого веса. Мы не разделяем переживаний всех персонажей, это верно: ведь интересы противоположны, и автор должен вызвать наше предпочтение к кому-нибудь одному; иначе мы вовсе не примем участия ни в ком. Но он выбирает совсем не те страсти, которые желал бы заставить нас полюбить, а вынужден выбирать те, которые мы любим. То, что я говорил о видах театральных зрелищ, относится и к интересу, который в них царит. В Лондоне вызывает интерес драма, возбуждающая ненависть к французам; в Тунисе великолепной страстью был бы морской разбой; в Мессине — славная месть; в Гоа — почетная обязанность сжигать евреев. Пусть автор<sup>1</sup> напишет отличную пьесу, но если он нарушит эти правила — на нее не станут ходить. И тогда придется обвинить этого автора в невежестве, так как он пренебрег первым законом своего искусства, который служит основанием всех остальных, — умением завоевывать успех! Таким образом, театр очищает страсти, которых у тебя нет, и разжигает те, которые ты имеешь. Ну, чем же не лекарство?

<sup>1</sup> Пусть в виде опыта выведут на французской сцене человека прямого и добродетельного, но простого и грубого, чуждого любви и галантности, не произносящего красивых фраз; пусть выведут свободного от предрассудков мудреца, который, получив оскорбление от бреттера, отказывается жертвовать жизнью, подставив себя под удар оскорбителя; и пусть исчерпают все средства театрального искусства, чтобы сделать эти персонажи такими же интересными для французского театра, как Сид: \* уверен, что это не удастся. (*Прим. Руссо.*)



Итак, целая совокупность причин, общих и частных, не позволяет довести театральные зрелища до того совершенства, которое считают для них возможным, и мешает им производить то благотворное действие, какого от них, видимо, ждут. Даже если допустить возможность самого высокого совершенства, а народ — как нельзя более благоприятно настроенным, то и при этих условиях действие зрелищ сведется к нулю — за отсутствием средств придать ему обязательность. Мне известны только три орудия, при помощи которых можно влиять на нравы народа: сила закона, власть общественного мнения и привлекательность наслаждения. Но закон не имеет никакого доступа в театр, который при наличии малейшего принуждения<sup>1</sup> превратился бы из удовольствия в наказание. Общественное мнение не зависит от театра, так как он не только не предписывает законов публике, но сам получает их от нее. Что же касается наслаждения, которое театр может доставить, то все его действие сводится к тому, что оно заставляет нас чаще ходить туда.

Посмотрим, нет ли в его распоряжении еще каких-нибудь средств. Мне говорят, будто театр, при надлежащем руководстве, которое вполне осуществимо, делает добродетель привлекательной, а порок гнусным. Как же так? Разве до возникновения драматических представлений не уважали людей добродетельных и не ненавидели злых? И разве там, где нет театральных зрелищ, эти чувства слабей? Театр придает добродетели привлекательность... Он творит великое чудо, осуществляя то, что природа и разум сделали до него! Злые на сцене ненавистны... А в жизни разве их любят, когда узнают, каковы они? Можно ли с уверенностью утверждать, что ненависть эта порождена волей автора, а не теми злодеяниями, которые он заставляет их совершать? Можно ли утверждать, что простой рассказ об этих злодеяниях вызвал бы в нас меньшее отвращение, чем те краски, которыми он их живописует? Если все его искусство сводится к тому, чтобы показывать нам преступников с целью вызвать к ним ненависть, я не понимаю, что же в этом искусстве замечательного? Мы ведь и без того получаем более чем достаточно уроков на этот счет. Осмелюсь ли высказать одно подозрение? Я сомневаюсь, чтобы человек, осведом-

---

<sup>1</sup> Закон может предписывать сюжеты, форму пьес, манеру игры, но он не в состоянии заставить публику наслаждаться всем этим. Император Нерон \*, выступая на сцене в качестве певца, приказывал убивать тех, кто заснет; но даже таким способом он не мог добиться всеобщего внимания, и удовольствие всхрипнуть чуть не стоило жизни Веспасиану \*. О благородные артисты Парижской Оперы! \* Если бы вы обладали императорской властью, меня не мучило бы теперь сознание, что я живу слишком долго! (Прим. Руссо.)

ленный заранее о преступлениях Федры \* или Медеи \*, возненавидел их в конце представления больше, чем в начале. А если это сомнение обосновано, то что же приходится думать о пресловутом воздействии театра?

Я очень хотел бы, чтоб мне ясно и без лишних слов объяснили, каким образом театр может вызывать в нас чувства, которых мы лишены, и заставлять нас судить о нравственном облике человека иначе, нежели мы судим о нем про себя. До чего все эти глубокомысленные претензии наивны и бессмысленны! Ах, если бы красота добродетели целиком зависела от искусства, оно давно уже исказило бы ее! Со своей стороны скажу: пусть меня называют злодеем за мое дерзкое утверждение, что человек по природе добр \*, но я полагаю, с уверенностью, что мне это удалось доказать. Источник нашего влечения ко всему порядочному и отвращение к злу находится в нас самих, а не в пьесах. Нет такого искусства, которое не порождало бы это влечение. Искусство только хвалится этим. Любовь к прекрасному<sup>1</sup> — столь же естественное чувство для сердца человеческого, как любовь к себе; она возникает в нем не в результате театральных постановок; автор не вводит ее туда, а находит ее там; и из этого чистого чувства, которому он угождает, проистекают вызываемые им сладкие слезы.

Представьте себе самый совершенный театр, какой только можно вообразить. Укажите мне человека, который, идя туда в первый раз, не был бы заранее убежден в правоте того, что там доказывают, и не настроен в пользу тех, кого там изображают в привлекательном виде. Но ведь вопрос не в этом, а в том, чтобы действовать согласно своим собственным принципам и брать пример с тех, кого уважаешь. Сердце человеческое справедливо во всех случаях, не затрагивающих его непосредственно. В столкновениях, которых мы являемся только зрителями, мы сразу становимся на сторону правого дела, и не бывает так, чтобы дурной поступок не вызвал нашего живейшего негодования, если только мы не извлекаем из него никакой пользы. Но там, где затронуты наши интересы, чувства наши вскоре сбиваются с прямого пути; и тут только отдаем мы предпочтение злу, нам выгодному, перед добром, к которому нас влечет природа. В самом деле, разве не вытекает с необходимостью из самой природы вещей, что дурной человек

---

<sup>1</sup> Речь идет о красоте добродетели. Что бы ни говорили философы, эта любовь у человека — врожденная и служит основой совести \*. В качестве иллюстрации могу назвать маленькую пьеску «Нанина» \*, вызвавшую ропот в зрительном зале и удержавшуюся лишь благодаря громкому имени автора, и все это только потому, что чести, добродетели, чистым естественным чувствам в ней отдается предпочтение перед наглыми претензиями светских предрассудков. (Прим. Руссо.)

извлекает двойное преимущество из своей несправедливости и чужой честности. Возможен ли для него более выгодный договор, чем тот, по которому весь мир должен быть справедлив, — только не он, так чтобы каждый поступал относительно него добросовестно, как должно, а он не поступал бы, как должно, ни с кем? Да, он любит добродетель, но в других, потому что рассчитывает на ней пожить; а ему самому она не нужна, так как слишком дорого обходится. Что же он ходит смотреть в театре? То самое, что хотел бы видеть повсюду: уроки добродетели для всех присутствующих, кроме него самого, и людей, приносящих все в жертву долгу, не требуя с его стороны ничего взамен.

Говорят, будто трагедия ведет через страх к состраданию. Допустим, — но что это за сострадание? Преходящее пустое волнение, длящееся не дольше вызвавшей его иллюзии; остаток естественного чувства, вскоре заглушенный страстями; бесплодная жалость, довольствующаяся легкой данью в виде нескольких слезинок и ни разу еще не породившая ни одного гуманного поступка. Так плакал кровавый Сулла, слушая рассказ о чужих жестокостях \*. Так прятался от глаз зрителей тиран Фер \*, боясь, что его увидят стенающим вместе с Андромахой и Приамом, тогда как он без волнения слушал крики стольких несчастных, ежедневно умерщвляемых по его приказу. Тацит сообщает \*, что Валерий Азиатский \*, оклеветанный по приказу Мессалины, желавшей его погубить, защищался перед императором в таких выражениях, что растрогал этого монарха и заставил плакать самое Мессалину. Чтоб успокоиться, она удалилась в соседнюю комнату, перед этим шепнув сквозь слезы Вителлию \*, чтобы тот не спускал глаз с обвиняемого. Каждый раз, как я вижу в зрительном зале какую-нибудь из этих столь гордых своими слезами театральных плакальщиц, мне тотчас приходят на память слезы Мессалины о бедном Валерии Азиатском.

Если, по замечанию Диогена Лаэртция \*, сердце более отзывчиво на воображаемые страдания, чем на подлинные, если театральные образы исторгают у нас порой больше слез, чем их прототипы в жизни, то не столько потому, что в данном случае волнения здесь слабей и не доходят до страдания <sup>1</sup>, как

---

<sup>1</sup> По его словам, поэт огорчает нас лишь в меру нашего желания и заставляет нас любить своих героев, лишь поскольку нам этого хочется. Это противоречит всему, что известно из опыта. Многие не ходят смотреть трагедии, потому что испытывают от них такое волнение, что им даже становится нехорошо; другие, стыдясь плакать в театре, все же не в силах удержаться от слез; и данные явления не так редки, чтобы их можно было считать исключениями из правила, устанавливаемого этим автором. (Прим. Руссо.)

думает аббат Дюбос \*, сколько потому, что они чисты и к ним не примешивается тревога за нас самих. Отдавая этим вымыслам свои слезы, мы удовлетворили всем требованиям гуманности и с нас больше нечего спрашивать, тогда как живые люди потребовали бы от нас заботы, поддержки, утешения, хлопот, которые могли бы приобщить нас к их беде или во всяком случае дорого обойтись нашей лени, так что мы предпочитаем избежать всего этого. Наше сердце как бы сжимается из боязни расчувствоваться к ущербу для нас.

В самом деле, если человек идет восхищаться вымышленными прекрасными поступками и плакать по поводу воображаемых несчастий, что еще можно от него требовать! Разве он не имеет оснований хвалить себя за душевное благородство? Разве не рассчитался он полностью с добродетелью, уплатив ей эту дань уважения? Что вы хотите от него еще? Чтобы он руководился ее велениями на деле? Ему не надо играть никакой роли, он не актер.

Чем больше я об этом думаю, тем тверже убеждаюсь, что все представляемое на театре не приближают к нам, а удаляют от нас. Когда я смотрю «Графа Эссекса» \*, царствование Елизаветы отодвигается от меня на десять столетий, а если бы изображались события, совершившиеся вчера в Париже, я подумал бы, что действие происходит в эпоху Мольера. У театра имеются свои правила, свои принципы, своя мораль, также как свой язык и своя одежда. Все прекрасно понимают, что нам все это совершенно чуждо, что усваивать себе добродетели театральных героев было бы так же странно, как говорить стихами и носить римский костюм. Вот на что нужны все эти великие чувства и прославленные принципы, которым воскуряют такой фимиам: на то, чтобы навсегда вытеснить их на сцену и показать нам добродетель в виде театрального зрелища, способного развлечь публику, но которое нелепо было бы пытаться серьезно перенести в жизнь. Таким образом, наиболее положительное воздействие лучших трагедий состоит в том, чтобы свести все обязанности человека к кое-каким преходящим, бесплодным, не оставляющим следа привязанностям и заставить нас восхищаться нашей собственной храбростью — восхваляя храбрость других, нашей собственной гуманностью, сочувствуя недугам, которые мы могли бы излечить, нашей собственной добротой — говоря бедняку: «Помоги вам господь!»

Можно, правда, упростить обстановку, приблизить представление к действительности: но таким способом не исправляют пороки, а живописуют их; обладателю безобразной физиономии она не кажется безобразной. Попытка же исправлять пороки, изображая их в карикатурном виде, ведет к утрате правдоподобия и верности природе, и тогда картина уже не производит

действия. Карикатура не делает предметы ненавистными, она делает их только смешными, и отсюда проистекает очень большое затруднение: боязнь насмешки приводит к тому, что пороки перестают пугать и невозможно исправлять смехом, не поощряя тем самым порок. Вы спросите, почему это противоречие неизбежно? Почему, сударь? Потому что добрые не подымают злых на смех, а уничтожают их своим презрением, и нет ничего менее забавного и способного вызвать смех, чем негодование добродетели. Наоборот, насмешка — излюбленное оружие порока. Именно при помощи насмешки, нападая на заложенное в глубине наших сердец уважение к добродетели, порок в конце концов гасит любовь к ней.

Таким образом, все заставляет нас отказаться от пустой мысли о совершенстве, которым будто бы обладают зрелища, имеющие целью принести пользу обществу.

Напрасно ждать, глубокомысленно замечает Мюра \*, что там будут верно изображены подлинные отношения предметов: ибо, как правило, поэт не может не исказить эти отношения, приспособляя их ко вкусам народа. В комедии он их преуменьшает и ставит ниже человеческого уровня; в трагедии — возвеличивает, чтобы придать им героический характер, и возносит над человечеством. В результате они никогда не имеют действительных пропорций, и на театре перед нами всегда не те существа, что окружают нас в жизни. Разница эта, прибавлю от себя, настолько реальна и твердо установлена, что Аристотель в своей «Поэтике» возвел ее в правило: *Comœdia enim deterioriores, tragœdia meliores quam nunc sunt imitari conantur*<sup>1</sup>. Хорошо ли подражание, которое ставит себе задачей воспроизводить то, чего нет, и отворачивается от того, что находится между недостатком и избытком, то есть от существующего, как от бесполезного? Но бог с ним — с соответствием действительности; лишь бы получилась иллюзия! Нужно ведь только возбудить любопытство публики. Все эти творения ума, как и большинство других, рассчитаны лишь на то, чтобы вызывать рукоплескания. Если автору аплодируют и актеры разделяют с ним успех, пьеса оправдала себя, и больше от нее нечего требовать. Но где нет добра, там налицо зло, и поскольку в этом не может быть сомнения, вопрос представляется мне исчерпанным. Но приведем несколько примеров, которые могут придать решению бóльшую убедительность.

Кажется, можно выдвинуть в качестве истины, легко доказуемой на основе изложенного, что французский театр, при всех его недостатках, все же более или менее близок к совер-

---

<sup>1</sup> Комедия старается изображать людей худших, а трагедия — лучших, чем существующие. (Аристотель, Поэтика, гл. 2.)

шенству, — ставит ли он своей целью развлечение или же пользу, и что оба эти качества находятся у него в таком соотношении, которого нельзя нарушить, не отняв у одного из них больше, чем прибавишь другому, что сделало бы этот театр еще менее совершенным. Не то чтобы человек одаренный не мог создать новый род пьес, более приемлемый, чем существующие; но этот новый род будет держаться только благодаря таланту автора и неизбежно исчезнет вместе с ним, а преемники, не имея его дарований, всегда будут вынуждены возвращаться к обычным средствам возбуждения интереса и привлечения симпатий зрителя. Каковы эти средства у нас? Славные подвиги, великие имена, великие злодеяния и великие добродетели — в трагедии, смешное и забавное — в комедии; и в обеих <sup>1</sup> всегда — любовь. Спрашивается: какая от всего этого польза для нравов?

Мне скажут, что в пьесах этих всегда карается порок и награждается добродетель. Я отвечу, что если даже это так, то, поскольку большинство трагедий основано на чистом вымысле, события, заведомо выдуманные, не производят особого впечатления на зрителей; чем больше зрители видят старания просветить их, тем меньше это старание достигает цели. Скажу еще, что эти наказания и награды осуществляют таким необычным способом, что в повседневной жизни трудно ждать чего-либо подобного. Наконец я отрицаю самый факт. Как правило, это не так и не может быть так: поскольку авторы пьес преследуют не эту цель, они, конечно, редко достигают ее, и она очень часто мешала бы успеху пьесы. Порок или добродетель, — не все ли равно? Лишь бы произвести сильное впечатление величественным зрелищем. Вот отчего на французской сцене, бесспорно самой совершенной или во всяком случае самой образцовой из всех, когда-либо существовавших, торжествуют не только прославленные герои, но и великие злодеи: доказательство — Катилина \*, Магомет \*, Атрей \* и множество других.

Я хорошо понимаю, что моральное воздействие трагедии определяется не только катастрофой и что в этом смысле трагедия выполнила свою задачу, если сумела вызвать в нас больше сочувствия к несчастному добродетельному герою, чем к счастливому злодею, — хотя в этом случае правило, считающееся обязательным, оказывается нарушенным.

Так как нет такого человека, который предпочел бы быть Нероном, а не Британником \*, я признаю, что в этом отношении

---

<sup>1</sup> Грекам не было надобности строить трагедию на любви, и они не делали этого. У нас трагедия уже не имеет тех средств и поэтому не в состоянии обойтись без этой пружины. Причина этого различия будет видна из дальнейшего. (Прим. Руссо.)

пьесу, где они выведены, нужно считать удачной, хоть Британик в ней и гибнет. Но, с этой же точки зрения, как должны мы расценивать трагедию \*, где, хотя злодеев и постигает кара, однако представлены они в таком привлекательном виде, что все наше сочувствие на их стороне? Где Катон, величайший из смертных, изображен педантом? Где Цицерон, спаситель республики, Цицерон, первым удостоенный титула отца отечества и единственный получивший его по заслугам, представлен жалким болтуном и трусом, тогда как гнусный Катилина, весь запятнанный злодействами, которым нет имени, чуть не истребивший всех своих подчиненных и чуть не превративший свою родину в груды пепла, играет роль великого человека и благодаря своим дарованиям, своей твердостью и храбростью сосредоточивает на себе все уважение зрителей? Пусть бы он даже был мужествен, если угодно; но перестал ли он от этого быть отвратительным негодяем и нужно ли было придавать преступлениям разбойника характер героических подвигов? В чем мораль подобной пьесы, как не в поощрении Катилин и выдаче ловким злодеям награды в виде той дани общественного уважения, на которую могут рассчитывать только люди порядочные? Но таковы вкусы, которым должна угождать сцена, таковы нравы просвещенного века. Только знания, ум, храбрость вызывают наши восторги, а тебя, кроткая и скромная добродетель, всегда обходят почестями. Как слепы мы в этом море света! Жертвы своих собственных безрассудных рукоплесканий, неужели мы никогда не пойдем, какого презрения и какой ненависти заслуживает каждый злоупотребляющий, на горе роду человеческому, талантом и дарованиями, которыми его наделила природа?

«Атрей» и «Магомет» лишены даже такого слабого средства воздействия, как развязка. Чудовище, являющееся в каждой из этих пьес главным героем, спокойно осуществляет все свои злодеяния и радуется своей удаче, причем одно из них в последнем стихе трагедии \* говорит буквально следующее:

.Мне сердце радуют плоды злодейств моих!

Охотно допускаю, что зрители, напутствуемые этим прекрасным изречением, не сделают из него того вывода, что злодеяние вознаграждается чувством радости и наслаждения. Но я спрашиваю в конце концов: какую пользу принесет им пьеса, где это изречение выставлено как образец?

Что касается «Магомета», то недостаток, заключающийся здесь в привлечении общественного сочувствия к виновному, был бы тем разительней, что этот виновный написан совсем другими красками, если бы автор не позаботился сосредоточить на другом персонаже тот полный уважения и почтения

интерес, который способен заглушить или хотя бы уравновесить изумление и ужас, внушаемые Магометом. Особенно та сцена, где они выведены вдвоем \*, составлена с таким искусством, что Магомет, не изменяя себе, ничего не утрачивая из свойственного ему превосходства, посрамляется, однако, простым здравым смыслом и бесстрашной добродетелью Зомира <sup>1</sup>.

Только автор, хорошо сознающий свою силу, способен смело противопоставить друг другу двух подобных собеседников. Я ни разу не слышал, чтобы именно эта сцена была оценена по достоинству, но во всей французской драматургии не знаю другой, которая была бы так ярко отмечена печатью великого мастерства и где святое значение добродетели не торжествовало бы так явно над полетом гения.

Есть еще одно соображение, как будто оправдывающее эту пьесу: речь в ней идет не о преступлениях вообще, а о преступлениях фанатизма, чтобы показать их народу и научить его от них защищаться. К несчастью, такого рода забота совершенно бесполезна и притом не всегда безопасна. Фанатизм — не заблуждение, а слепое и тупое иступление, изуверство, которого разум не в силах сдержать. Единственное средство помешать его возникновению — это удерживать тех, кто его возбуждает. Напрасно будете вы доказывать безумным, что вожаки обманывают их: преданность безумцев своим вожакам от этого не уменьшится. Раз уж фанатизм возник, мне кажется, есть только один способ остановить его распространение: обратиться против него его собственное оружие. Тут не место ни доказательств, ни рассуждениям: надо отложить в сторону философию, закрыть книги, взять в руки меч и покарать лжецов \*. Кроме того, относительно Магомета я очень опасаясь, как бы величие души его не уменьшило в глазах зрителей чудовищности его преступлений и как бы такая пьеса, сыгранная перед людьми, имеющими возможность выбора, не создала больше Магометов, чем Зомиров. Как бы то ни было, несом-

---

<sup>1</sup> Помнится, я заметил в Омаре, при его встречах с Зомиром \*, больше жара и воодушевления, чем у самого Магомета, и решил, что это недостаток. Но, поразмыслив, переменил мнение. Омар, ослепленный фанатизмом, должен говорить о своем повелителе не иначе, как с восторженной преданностью и преклонением, вознося его над человечеством. Но Магомет — не фанатик: это обманщик, понимающий, что перед Зомиром незачем разыгрывать одержимого, и старающийся поэтому завоевать его притворным доверием и соблазнами честолюбия. Эта сдержанная манера делает Магомета не таким блестящим, как Омар, как раз потому, что он значительнее Омара и лучше разбирается в людях. Он сам, говорят, дает это понять в указанной сцене. Значит, моя вина, что я не заметил. Ничего не поделаешь! С нами, маленькими писателями, это случается. При попытке критиковать произведение учителей наше легкомыслие заставляет нас отмечать там тысячи ошибок, которые являются красотами в глазах знатока. (*Прим. Руссо.*)



ненно, что такого рода примеры не слишком располагают к добродетели.

Для черного Атрея нет ни одного из этих оправданий, и отвращение, им внушаемое, не приносит ни малейшей пользы; он не научает нас ничему, кроме как содрогаться перед его злодеянием; и хотя все его величие исчерпывается яростью, во всей пьесе нет персонажа, способного по характеру своему разделить с ним внимание публики; что касается слащавого Плисфена \*, я не понимаю, как его терпят в подобной трагедии. Сенека в свою трагедию не ввел любви, и современный автор, решив следовать ему во всем остальном, конечно, должен был бы последовать и в этом. Право, нужно обладать особой душевной гибкостью, чтобы выносить галантные разговоры наряду со сценами, в которых участвует Атрей.

Прежде чем покончить с этой пьесой, не могу не отметить одно ее достоинство, которое многие, пожалуй, сочтут недостатком. Роль Фиеста, быть может, самая античная по своему духу \*, из всего, что появлялось на французской сцене. Это не храбрый герой, не образец добродетели, но нельзя его назвать и злодеем; <sup>1</sup> это человек слабый и представляющий интерес единственно тем, что он — человек и несчастен. К тому же, мне кажется, именно благодаря этому вызываемое им чувство — чрезвычайно нежное, трогательное; человек этот очень близок к любому из нас, тогда как героизм не только трогает, но еще в гораздо большей степени подавляет нас, поскольку в конце концов не имеет к нам никакого отношения. Не следует ли пожелать, чтобы наши выпренные авторы соблаговолили немного спуститься со своих излюбленных высот и время от времени будили в нас жалость к простому страждущему человечеству; а то как бы мы, привыкнув сочувствовать одним лишь несчастным героям, не разучились испытывать сострадание к кому бы то ни было. Древние имели в жизни героев, а на сцену выводили людей; мы, наоборот, выводим на сцену героев, а в жизни почти не имеем людей. Древние не говорили о человечности такими готовыми фразами, но они лучше умели проявлять ее на деле. К ним и к нам можно было бы применить один эпизод, сообщенный Плутархом; мне трудно удержаться и не привести его. Старик афинянин безуспешно искал свободного места на скамьях для зрителей; какие-то юноши, видя его затруднение, поманили его к себе, но когда он подошел, тесно сдвинулись и стали над ним смеяться. Бедняк обо-

---

<sup>1</sup> Доказательство — в том, что он вызывает наше сочувствие. Что же касается вины, за которую он несет наказание, то она давняя, искуплена с избытком и, кроме того, слишком незначительна для театрального злодея, которого признают таковым лишь при условии, что он своим злодейством приводит в содрогание. (*Прим. Руссо.*)

шел весь театр, испытывая большое смущение и все время подвергаясь насмешкам молодых щеголей. Это заметили представители Спарты: они тотчас встали и с почтением усадили старика на одно из своих мест. Их поступок вызвал рукоплескания всех присутствующих. «Увы! — горестно воскликнул добрый старик. — Афиняне знают, что такое благопристойность, но лишь лакедемоняне поступают, как она велит». Вот современная философия и древние нравы.

Возвращаюсь к моей теме. Что можно извлечь из «Федры» и «Эдипа» \*, кроме того, что человек не свободен и что небо карает его за преступления, которые оно заставило его совершить? Что можно извлечь из «Медеи» \*, кроме того, что из-за бешеной ревности женщина может стать жестокой и бесчеловечной матерью? Посмотрите большинство пьес французского театра: почти во всех вы найдете отвратительных чудовищ и страшные поступки, которые способны, если угодно, сообщить пьесе интерес и дать добродетели повод проявить себя, но безусловно опасны тем, что они приучают глаза народа к ужасам, которых он вовсе не должен был бы знать, и преступлениям, которых не должен был бы предполагать возможными. И это даже неверно, будто убийство или отцеубийство и матереубийство изображаются там всегда в отталкивающем виде. На основании бог знает каких удобных оправданий их объявляют допустимыми или извинительными. Готовы даже чуть ли не обелить кровосмесительницу и преступницу, проливающую кровь невинных, — Федру, Сифакс, отравляющий жену \*, младший Горацій, закалывающий сестру \*, Агамемнон, приносящий в жертву дочь \*, Орест, убивающий мать \*, — все они, несмотря ни на что, остаются персонажами, привлекающими к себе сочувствие. Прибавьте к этому, что автор, чтобы заставить каждого говорить согласно его характеру, вынужден вкладывать в уста злодеев их правила и принципы в пышной одежде красивых стихов, произносимых тоном внушительным, сентенциозным, в назидание публике.

Если греки мирились с такого рода театральными зрелищами, то потому, что видели в них как бы воплощение национальной старины, жившей во все времена среди народа, по определенным соображениям постоянно возобновляемой ими в памяти и даже своими отталкивающими чертами отвечающей их требованиям. Нам чужды и эти соображения, и этот интерес; так как же может трагедия найти у вас зрителей, способных вынести картины, ею изображаемые, и персонажей, в ней действующих? Один убивает отца, женится на матери \* и оказывается братом своих детей. Другой добивается того, чтобы сын убил отца \*. Третий заставляет отца выпить кровь сына \*. Невольно вздрагиваешь при одной мысли об ужасах, которыми

уснащают французскую сцену, чтобы позабавить народ, самый кроткий и человечный, какой только есть на земле! Нет... я утверждаю, призывая в свидетели ужас зрителей: побоища гладиаторов уступали в варварстве этим страшным зрелищам. Правда, там текла кровь; но там не загрязняли своего воображения злодеяниями, заставляющими содрогнуться самое природу.

К счастью, трагедия в том виде, как она есть, до такой степени далека от нас и выводит перед нами такие гигантские, такие напыщенные, такие химерические существа, что пример их пороков столь же мало заразителен, сколь пример их добродетелей полезен, и чем меньше она старается учить нас, тем меньше приносит нам вреда. Но не так обстоит дело с комедией, чьи нравы гораздо ближе к нашим и персонажи более похожи на людей. Тут все дурно, пагубно и ничто не проходит бесследно для зрителей; и, поскольку самое удовольствие, доставляемое комическим, основано на том или ином изъяне человеческого сердца, из этого принципа вытекает, что чем комедия привлекательней и совершеннее, тем более роковое влияние оказывает она на нравы. Но, чтобы не повторять сказанного мною о ее природе, я ограничусь здесь наглядными примерами и брошу беглый взгляд на ваши комедии.

Возьмем французскую комедию в ее наиболее совершенных, то есть первоначальных образцах. Все согласны и с каждым днем будут понимать все ясней, что Мольер — самый совершенный автор комедий, какие только нам известны. Но кто будет спорить и против того, что театр того самого Мольера, чьими талантами я восхищаюсь больше всех, представляет собой целую школу пороков и дурных нравов, более опасную, чем книги, которые специально ставят себе задачей им научить. Величайшая его забота состоит в том, чтобы высмеивать доброту и простодушие и вызывать сочувствие к тем, на чьей стороне хитрость и ложь: у него честные люди только болтают, а порочные действуют, и чаще всего — с блестящим успехом; наконец рукоплесканиями очень редко награждается у него более достойный уважения, а почти всегда более ловкий.

Всмотритесь в комическое начало у этого автора: вы всегда обнаружите, что двигателем комического является у него порочная натура, а предметом — врожденные недостатки, что хитрость одного казнит простоту другого и что дураки становятся жертвой злых. И хотя это слишком верно, если говорить о свете, отсюда не следует, чтобы нужно было выводить это на театре с видом одобрения, как бы подталкивая вероломных людей посмеяться над чистосердечием честных, объявив его глупостью.

Dat veniam corvis, vexat censura columbas<sup>1</sup>.

Вот дух, царящий в произведениях Мольера и его подражателей. Эти люди, самое большее, могут порой высмеивать пороки, но никогда не стараются привить любовь к добродетели, люди, о которых один древний сказал, что они хорошо умеют снимать нагар с фитиля, но никогда не подливают масла в светильник.

Посмотрите, как этот человек в погоне за смешным потрясает весь общественный строй; с каким бесстыдством разрушает он все самые священные отношения, которые служат основой этого строя; как поднимает на смех почтенные права родителей над детьми, мужа над женой, хозяев над слугами! Он смешит, это верно, но тем самым становится только преступней, заставляя даже благоразумных, при помощи неодолимых чар, участвовать в издевательствах, которые должны были бы приводить в негодование. Мне говорят, что он нападает на пороки; но пусть сопоставят: на кого нападает он и кому покровительствует? Кто заслуживает большего осуждения: безмозглый тщеславный мещанин, который нелепо корчит из себя дворянина, или плут-дворянин, который водит его за нос? В пьесе, о которой я говорю, не этот ли последний изображен порядочным человеком? Не на его ли стороне сочувствие и не рукоплещет ли публика всем его проделкам над первым? Кто преступней: крестьянин, имеющий безумие жениться на барышне, или женщина, стремящаяся обесчестить мужа? Что думать о пьесе, на которой публика рукоплещет неверности, лживости, бесстыдству последней и смеется над глупостью наказанного деревенщины? Быть скупым и заниматься ростовщичеством — большой порок; но не хуже ли еще сыну обкрадывать отца, оказывать ему неуважение, осыпать его градом обидных упреков и, когда тот посылает ему гневное проклятие, издевательски отвечать, что в его подарках не нуждаются? Как бы эта шутка ни была удачна, она все же недопустима, и разве благодаря ей пьеса, располагающая в пользу дерзкого сына, перестает быть школой безнравственности?

Не буду останавливаться на слугах. Их осуждают решительно все<sup>2</sup>, и было бы тем более несправедливо вменять

---

<sup>1</sup> К вѣронам милостив суд, но он угнетает голубок (Ювенал, Сатиры, II, 64). (Перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского.)

<sup>2</sup> Я не утверждаю, что они действительно заслуживают осуждения. Возможно, что слуги — только орудия злой воли их господ, с тех пор как последние отняли у них честь изобретения. Однако сомневаюсь, чтобы в этом смысле слишком откровенное изображение общества было уместно на театре. Если допустить, что в пьесе необходимо некоторое количество мошеннических проделок, не лучше ли было бы возлагать эту обязанность на слуг, с тем чтобы порядочные люди оставались в самом деле порядочными — хотя бы на сцене. (Прим. Руссо.)

Мольеру в вину заблуждения его персонажей и его века, что сам он от этих заблуждений освободился. Не будем самодовольно ссылаться ни на недостатки, имеющиеся, быть может, в его юношеских произведениях, ни на более или менее слабые места в других пьесах, а перейдем сразу к его единодушно признанному шедевру — к «Мизантропу».

Я считаю, что эта комедия лучше всех других раскрывает истинные намерения, с которыми он создавал свой театр, и позволяет нам лучше судить о подлинном значении последнего. Имея задачей угождать публике, он сообразовывался с наиболее распространенным вкусом тех, кто ее составляет: основываясь на нем, он создал себе модель, а по этой модели — картину контрастирующих недостатков, откуда брал свои комические характеры, распределяя разные черты их по своим пьесам. Таким образом, он имел в виду формирование не человека порядочного, а человека светского; следовательно, он хотел исправлять не пороки, а смешные странности; и, как я уже сказал, в самом пороке нашел очень подходящее орудие для этой цели. Так, желая выставить на посмешище все недостатки, составляющие контраст к достоинствам человека любезного, человека из общества, он, высмеяв множество других смешных нелепостей, решил наконец высмеять самую непростительную из них в глазах света — нелепость добродетели, что он и сделал в «Мизантропе».

Вы не можете отрицать двух вещей: во-первых, того, что Альцест в этой пьесе — человек прямой, искренний, порядочный во всех отношениях; во-вторых, что автор изображает его в смешном виде. Этого, кажется, довольно, чтобы признать поступок Мольера ничем не оправдываемым. Можно возразить, что он осмеивает в Альцесте не добродетель, а действительный недостаток — человеконенавистничество. На это я отвечу, что неверно, будто он приписывает своему герою это свойство: прозвище «Мизантроп» не должно создавать впечатление, будто его носитель — враг человечества. Такая ненависть была бы не недостатком, а противоестественным извращением и величайшим из всех пороков. Подлинный мизантроп — чудовище. Будь он в действительности, он не казался бы смешным, а наводил бы ужас. Вы, может быть, видели в Итальянской Комедии пьесу под заглавием «Жизнь есть сон»\*. Если вы помните героя этой пьесы, вот вам подлинный мизантроп.

Что же представляет собой мизантроп Мольера? Порядочный человек, который питает отвращение к нравам своего века и своих современников; человек, который, именно из любви к ближним, ненавидит в них страдания, причиняемые ими друг другу, и пороки, являющиеся источником этих страданий. Если

бы он был равнодушен к человеческим заблуждениям, не так негодовал бы против окружающей несправедливости, разве в силу этого он был бы более человечен? Это все равно, как если бы сказать, что нежный отец семейства больше любит чужих детей, чем своих, потому что проступки своих приводят его в негодование, а о проступках чужих он не говорит ни слова.

Эти чувства Мизантропа прекрасно раскрыты в его роли. Правда, он говорит, что жестоко возненавидел человеческий род; но при каких обстоятельствах говорит он это? <sup>1</sup> Когда, возмущенный низостью друга, который на его глазах скрывает свое истинное мнение и обманывает того, кто этим мнением интересуется, он видит, что в довершение всего его самого поднимают на смех за его гнев. Вполне естественно, что этот гнев переходит в бешенство, заставляющее его говорить вещи, которых он не сказал бы в спокойном состоянии. К тому же объяснение, которое он дает своей ненависти ко всем на свете, показывает, что она вполне оправдана:

Одни — за то, что злы, преступны и корыстны,  
Другие же — за то, что одобряют тех... \*

Таким образом, он враг не людям, а злой воле одних и поддержке, которую она находит у других. Если бы не было ни обманщиков, ни льстецов, он любил бы весь человеческий род. Каждый порядочный человек в этом смысле мизантроп; или, верней, подлинные мизантропы как раз те, кто рассуждает иначе: потому что, в сущности, я не знаю большего врага людей, чем всеобщий друг, который всегда всем восхищается и непрестанно поощряет злонамеренных, лстя своей преступной снисходительностью порокам, этому источнику всех общественных бед.

Что Альцест — отнюдь не мизантроп в буквальном смысле слова, ясно доказывает следующий факт: несмотря на свои грубости и резкости, он вызывает сочувствие и располагает к себе. Правда, зрителям не хотелось бы походить на него, так как его прямота связана с многими неудобствами; но ни один из них не отказался бы иметь дело с таким человеком, — а этого бы не было, будь он отъявленным человеконенавистни-

---

<sup>1</sup> Предупреждаю, что, не имея ни книг, ни памяти и располагая вместо всех материалов лишь смутными воспоминаниями о своих посещениях театров в прошлом, я могу ошибаться и неправильно представлять себе ход пьес. Но если приводимые мною примеры неточны, доводы мои от этого не страдают, так как они основаны не на той или иной пьесе, а на общем духе, царящем в театре и хорошо мной изученном. (*Прим. Руссо.*)

ком. Во всех остальных пьесах Мольера смешной персонаж всегда достоин ненависти или презрения; в этой же, несмотря на наличие у Альцеста действительных недостатков, вполне заслуживающих осмеяния, в глубине души к нему все же испытываешь невольное уважение. В данном случае сила добродетели одерживает верх над искусством автора и делает честь его нравственной личности. Хотя Мольер писал предосудительные пьесы, сам он был человек порядочный; а в руках порядочного человека кисть никогда не могла закрашивать черты прямоты и честности отталкивающими красками. Больше того: Мольер вложил в уста Альцеста столько своих собственных мыслей, что многие увидели в этом персонаже намерение автора дать свой портрет. Это обнаружилось в той досаде, которую испытали зрители на первом представлении, разойдясь с Мизантропом в оценке сонета, — так как всем было ясно, что оценка Мизантропа — авторская.

Между тем этот столь добродетельный характер представлен в смешном виде; он действительно в некоторых отношениях смешон; желание автора представить его таким ясней всего доказывается тем, что ему противопоставлен его друг Филит. Этот Филит — мудрец пьесы, один из тех благородных представителей большого света, чьи правила чрезвычайно похожи на правила мошенников, из тех мягких, сдержанных людей, которые всегда находят, что все хорошо, так как заинтересованы в том, чтобы не стало лучше; которые всегда довольны всеми на свете, оттого что им ни до кого нет дела; которые, сидя за уставленным яствами столом, утверждают, что народ и не думает голодать; которые, имея набитый карман, находят весьма неуместными разглагольствования в защиту бедных; которые из окна своего запертого дома будут безропотно глядеть, как весь род человеческий обворовывают, грабят, режут, истребляют, — поскольку господь бог наделил их в высшей степени похвальной кротостью, помогающей переносить страдания ближнего.

Ясное дело, рассудительная невозмутимость Филита очень подходит для того, чтобы подчеркивать и выставлять в комическом свете вспыльчивость Альцеста. И допущенная Мольером несправедливость состоит не в том, что он изобразил Мизантропа человеком раздражительным и желчным, а в том, что он приписал ему способность выходить из себя, как мальчишка, по таким поводам, которые не должны были бы его волновать. Характер мизантропа не зависит от авторского усмотрения: он определен природой господствующей страсти такого человека. Страсть эта — ожесточенная ненависть к пороку, порожденная пламенной любовью к добродетели и обостряемая постоянным зрелищем людской злобы. Так что испыты-

вать ее способна только великая и благородная душа. Питаемые этой страстью отвращение и презрение к возмущающим ее порокам еще более содействуют изгнанию их из сердца, которое она наполняет. Кроме того, непрерывное созерцание общественного неурояства заставляет его забывать о себе, отдавая все свое внимание человеческому роду. Эта привычка возвышает его мысли, сообщает им более величественный полет, уничтожает в нем низкие наклонности, питающие и усиливающие себялюбие; и все это вместе порождает некую мужественную отвагу, гордость характера, не оставляющую места в глубине души его другим чувствам, кроме достойных быть там.

Конечно, человек всегда остается человеком; страсть делает его подчас слабым, несправедливым, безрассудным; он начинает, быть может, всматриваться в скрытые побуждения, двигающие чужими поступками, с тайным желанием найти в них доказательство сердечной испорченности; незначительный повод порой вызывает в нем целый взрыв гнева, и злой, намеренно сердя его, умеет устроить так, чтоб тот сам прослыл злым. Но верно также, что не все средства способны произвести такое действие и нужно подбирать их соответственно его характеру, чтобы вывести его из равновесия: иначе получится подмена мизантропа другим человеком, приписывание ему чуждых свойств.

Итак, вот в каком отношении характер мизантропа должен иметь недостатки, и вот чем Мольер великолепно пользуется во всех сценах между Альцестом и его другом, где холодные сентенции и насмешки последнего, выводя из терпения первого, заставляют его то и дело произносить тысячу удачно введенных автором дерзостей. Но этот суровый, жесткий характер, порою столь желчный, язвительный, удаляет его в то же время от всяких неразумных ребяческих огорчений и слишком живых личных интересов, которые совершенно не должны его тревожить. Пусть он возмущается злоупотреблениями, которые наблюдает как свидетель — это содействует полноте картины; но пусть остается холодным к тем из них, которые затрагивают непосредственно его самого. Потому что, объявив войну злым, он, конечно, готов к тому, что они в свою очередь ополчатся на него. Если бы он не предвидел того вреда, который причинит ему искренность, она была бы не добродетелью, а легкомыслием. Пусть двуличная женщина изменяет ему, пусть недостойные друзья предают его позору, а малодушные отступаются от него, он должен все это безропотно терпеть. Он знает людей.

Если эти замечания справедливы, Мольер плохо понял Мизантропа. Можно ли предположить, что тут произошла



ошибка? Конечно, нет. Желание посмеяться над персонажем заставило писателя снизить его, нарушив правду характера.

Как мог Альцест, после происшествия с сонетом, не ждать от Оронта никаких враждебных поступков? Могло ли его удивить сообщение о таком поступке, как будто ему первый раз в жизни случилось быть искренним или же искренность его впервые создала ему врага? Не должен ли он был спокойно приготовиться к тому, что проиграет процесс, отнюдь не обнаруживая уже заранее ребяческой досады?

Пусть двадцать тысяч я за это заплачу,  
За двадцать тысяч тех я право получу  
Кричать...

Мизантропу незачем тратить такую сумму для того, чтоб иметь право кричать: ему достаточно открыть глаза; и он не настолько ценит деньги, чтобы думать, что приобрел в этом отношении новые права благодаря проигранному процессу. Но надо было вызвать смех зрительного зала.

В сцене с Дюбуа, чем больше у Альцеста поводов к раздражению, тем более должен он оставаться холодным и невозмутимым, потому что легкомыслие лакея не порок. Мизантроп и вспыльчивый человек — два совершенно разных характера: и тут как раз был подходящий случай провести между ними различие. Мольер это знал. Но надо было вызвать смех зрительного зала.

Рискуя вызвать смех читателя уже на мой счет, я беру на себя смелость утверждать, что автор пренебрег несколькими очень важными условностями, одной великой истиной и, быть может, упустил ряд великолепных ситуаций. Ему надо было изменить построение пьесы, сделав Филинта необходимым участником самой завязки, — так чтоб можно было привести поступки Филинта и Альцеста в кажущееся противоречие с их принципами и в полное согласие с их характерами. Я хочу сказать, что надо было изобразить Мизантропа вечно разгневанным против общественных пороков и всегда спокойным по отношению к несправедливостям, направленным против него лично. Наоборот, философ Филинт должен был бы взирать на все царящие в обществе неурядицы с невозмутимым стоицизмом и приходить в бешенство при малейшей попытке задеть его самого. В самом деле, я заметил, что как раз люди, спокойно относящиеся к общественным несправедливостям, больше всего шумят по каждому поводу, затрагивающему их интересы, соблюдая верность своей философии лишь до тех пор, пока она не требует ничего от них самих.

Они похожи на ирландца, не желавшего вставать с постели, несмотря на то что дом загорелся. «Пожар!» — кричали ему. «Мне какое дело! — отвечал он. — Я ведь не хозяин, а квартирант». Наконец огонь добрался до него. Тут он вскакивает, бежит, кричит, мечется — начинает понимать, что иногда следует интересоваться домом, где живешь, даже если он тебе не принадлежит.

Мне кажется, что если бы разработать характеры действующих лиц, о которых идет речь, в этом направлении, оба получились бы более верными действительности, более отвечающими духу театра, и характер Альцеста вышел бы несравненно более выразительным. Но тогда зрительный зал мог бы смеяться лишь над светским человеком, тогда как автор хотел, чтобы смеялись над мизантропом<sup>1</sup>.

С той же целью он иногда заставляет Альцеста произносить мрачные шутки, совершенно не вяжущиеся с его манерой держаться. Такова, например, острота в сцене сонета:

Чтоб на него чума, черт побери, напала!  
Сломать нахалу нос — отличный бы финал!

Острота тем более неуместная в устах Мизантропа, что он только что жестоко раскритиковал более удачные остроты в сонете Оронта; и очень странно, что тот, кто ее произносит, через минуту указывает на песню короля Генриха как на образец хорошего вкуса. Не облегчает положение и то, что эти слова срываются у него с языка в минуту досады; досада никогда не подсказывает острот, и Альцест, который все время ворчит, должен был бы даже ворчать в более соответствующем его душевному складу тоне.

О низкий льстец! Хвалить какой-то бред позорно!

Вот как должен выражаться Мизантроп в гневе. После этого никаким остротам не место. Но надо было вызвать смех зрительного зала; вот образчик того, как унижают добродетель.

Примечательная черта этой комедии в том, что посторонние

---

<sup>1</sup> Я уверен, что талантливый человек, воспользовавшись моей мыслью, мог бы создать нового «Мизантропа»\*, не менее соответствующего действительности, не менее естественного, чем афинский, столь же достойного уважения, как и мольеровский, но несравненно более поучительного. Предвижу одно только неудобство, связанное с такой пьесой: невозможность для нее иметь успех, так как, что ни говори, никто не станет от души смеяться над собой, если причина смеха унижательна. Вот мы и вернулись к моим мерилам. (Прим. Руссо.)

задачи, поставленные автором перед ролью Мизантропа, побудили его смягчить то, что в ней существенно. Так, если во всех остальных его пьесах характеры преувеличены для большей выразительности, в данной — и только в ней одной — черты смягчены для придания ей большей театральности. Доказательство этого находим в той самой сцене, о которой я только что говорил. Мы видим, как Альцест изворачивается и прибегает ко всяким обинякам, чтобы высказать Оронту свое мнение. Это не мизантроп: это вежливый светский человек, старающийся обмануть того, кто обратился к нему за советом. Свойственная этому персонажу сила характера требовала, чтоб он резко заявил: «Ваш сонет никуда не годится. Киньте его в огонь». Но при этом исчезло бы комическое впечатление, вызванное колебаниями Мизантропа и его бесконечными: «Нет, я не говорю», которые являются, в сущности, ложью. Если бы Филинт, по его примеру, спросил его тут: «Что говоришь, предатель?» — как он на это ответил бы? Право, нет смысла оставаться мизантропом, чтобы быть им лишь наполовину: ибо только позволь себе первую уступку и первую неправду, какое соображение заставит тебя остановиться, пока ты не сделался лживым, как придворный?

Друг Альцеста должен знать его. Как же осмеливается он советовать ему навестить судей, то есть, попросту говоря, постараться подкупить их? Как может он предполагать, что человек, способный поступиться даже приличиями из любви к добродетели, способен пренебречь своими обязанностями ради выгоды? Просить судью! Не надо быть мизантропом, достаточно быть порядочным человеком, чтобы не делать таких вещей. Потому что, как ни поверни, либо проситель уговаривает судью исполнить свой долг и тем самым оскорбляет его, либо склоняет его к лицепритию, то есть совращает, поскольку всякое лицепритие со стороны судьи — преступление, так как он должен быть знаком с делом, но не с тяжущимися, имея перед глазами только порядок и закон. Я утверждаю, что подбивать судью на дурной поступок, значит совершать такой поступок самому, и что лучше проиграть правое дело, чем совершить дурной поступок. Это ясно и понятно, — тут нечего возразить. Светская мораль держится других взглядов. Мне это известно. Я должен только доказать, что везде, где Мизантроп смешон, он лишь исполняет долг порядочного человека и что характер его заведомо лишен цельности, если его друг предполагает, будто Альцест в состоянии этим долгом пренебречь.

Если иногда искусный автор заставляет этот характер действовать в полную силу, то лишь в тех случаях, когда эта сила придает сцене больше театральности, а комизму кон-

траста или положения более яркие краски. Таково, например, тихое, молчаливое поведение Альцеста, с последующим смелым и горячим выпадом в разговоре у кокетки:

О милые друзья! Вперед, смелей вперед!

Тут автор отчетливо обозначил разницу между клеветником и мизантропом. Последнему, при всей его язвительной и едкой желчности, ненавистно злоречие и противна сатира на личности. Общественные пороки, их носители в целом — вот предмет его нападков. Низкое тайное злословие недостойно его, он ненавидит и презирает его у других; а когда сам говорит о ком-нибудь дурно, то — прямо в лицо. И нужно заметить, что на протяжении всей пьесы именно в этой сцене производит он наибольшее впечатление, так как является в ней тем, кем должен быть; и если заставляет партер смеяться, то порядочным людям незачем краснеть за свой смех.

Но в общем не приходится отрицать, что будь Мизантроп более мизантропом, он был бы гораздо менее забавен, так как его твердость и прямота, не допуская никаких отклонений, всегда выручали бы его из затруднительного положения. Так что, смягчая его характер, автор делает это не для того, чтоб его пощадить, а наоборот, чтобы сделать его более смешным. Еще одно обстоятельство вынуждает его к этому: Мизантроп театра, обязанный говорить о том, что видит, должен жить в свете, а следовательно, умерять свою прямоту и манеры с помощью той лживой и лицемерной обязательности, которая зовется учтивостью и которую свет требует от каждого, желающего иметь доступ туда. Веди он себя там иначе, речи его не производили бы никакого действия. Автор желает сделать его смешным, но не сумасшедшим. А публика сочла бы его именно сумасшедшим, если бы он поступал вполне как мудрец.

Начав заниматься этой чудесной пьесой, трудно расстаться с ней; и чем больше о ней думаешь, тем больше открываешь в ней красот. Но в конце концов раз это бесспорно лучшая и самая здоровая в нравственном отношении из всех комедий Мольера, будем по ней судить об остальных; и признаем, что если намерение автора состоит в том, чтобы понравиться людям испорченным, то либо мораль ее направлена ко злу, либо ложное добро, ею проповедуемое, опасней самого зла тем, что оно прельщает кажущейся разумностью, тем, что ставит обычай и правила света выше подлинной честности, тем, что сводит мудрость к чему-то среднему между пороком и добродетелью, тем, что, к вящему удовольствию зрителей, убеждает их, будто для того, чтоб быть порядочным человеком, достаточно не быть отъявленным негодяем.

Для меня слишком выгоден переход от Мольера к его пре-

емникам, которые, не имея ни его дарования, ни его честности, тем верней усвоили его предвзятое намерение, поставив себе целью льстить развратной молодежи и безнравственным женщинам. Они первые ввели эти грубые намеки, отвергаемые не только благопристойностью, но и хорошим вкусом, долго составлявшие забаву дурных компаний и смущавшие людей скромных, — намеки, которых еще не успел изгнать из некоторых провинций более благородный тон, распространяющийся медленно. Другие авторы, более сдержанные в своих выходках, предоставив первым развлекать падших женщин, занялись поощрением жуликов. Один из менее развязных — Реньяр — отнюдь не самый безопасный. Просто невероятно, что в самом центре Парижа, с разрешения полиции, дают комедию\*, где положительный герой, на квартире у своего только что умершего дяди, занимается со своей достойной свитой делами, за которые по закону полагается петля; и вместо слез, исторгаемых в таких случаях простой человечностью у самых равнодушных, печальные приготовления к похоронам весело уснащает варварскими шутками. Самые священные права, самые заветные естественные чувства осмеяны в этой отвратительной сцене. Самые непростительные проделки собраны там, словно для потехи, и преподнесены с непринужденностью, которая заставляет глядеть на них как на милые шутки. Подлог, подмена лиц, кража, мошенничество, обман, бесчеловечность, — чего там только нет; и все это покрывается рукоплесканиями. Когда покойник вдруг вздумал ожить, к величайшему неудовольствию своего милого племянника, и не пожелал утвердить того, что сделано от его имени, находят способ вырвать у него согласие силой, и все кончается, к удовольствию актеров и зрителей, которые, невольно заинтересовавшись действиями этих мерзавцев, уносят из театра назидательные воспоминания о своем тайном сочувствии в совершавшихся на их глазах преступлениях.

Осмелимся заявить без обиняков. Кто из нас настолько уверен в себе, чтобы выдержать представление подобной комедии, не увлекшись проделками, которые там разыгрываются? Кто не почувствовал бы легкой досады, если бы мошенник был застигнут врасплох или потерпел неудачу? Кто, заинтересовавшись судьбой мошенника, сам не превращается хоть отчасти в такового? Ибо заинтересоваться кем-либо — не значит ли это поставить себя на его место? Хороший урок для юношества, при котором даже взрослые с трудом спасаются от соблазна порока! Значит ли это, что в театре недопустимо изображать предосудительные поступки? Нет: но, право, чтобы надлежащим образом вывести на сцене прохвоста, нужно самому автору быть вполне порядочным человеком.

Эти недостатки до такой степени неотделимы от нашего театра, что, пытаясь устранить их, его только портят. Современные наши авторы, движимые лучшими намерениями, сочиняют более благонравные пьесы \*. Но что получается? То, что пьесы эти лишены подлинного комизма и не производят никакого впечатления на зрителей. Они очень поучительны, если угодно; но еще больше — скучны. Проще ходить слушать проповедь.

При таком упадке театра приходится заменять в нем исчезнувшую подлинную красоту приятными подробностями, способными вводить публику в заблуждение. Утратив силу, способную создавать комическое и характерное, нажали на любовную интригу. То же самое проделали в трагедии — для замены положений, основанных на интересах государства, теперь ставших чуждыми, и на простых, естественных чувствах, никого больше не интересующих. Авторы, ради общественной пользы, усердно соревнуются в том, чтобы оживить новой энергией и расцветить по-новому эту опасную страсть; и со времен Мольера и Корнеля на театре снискивают успех одни только романы, носящие название драматических произведений.

Любовь — царство женщин. Они неизбежно законодательствуют там, так как, по природе вещей, сопротивление — их право, и мужчины в состоянии преодолеть его лишь ценой своей свободы. Неизбежное следствие такого рода пьес — распространение власти прекрасного пола, превращение женщин и девушек в воспитательниц общества и наделение их такой же властью над зрителями, какую они имеют над своими поклонниками. Не кажется ли вам, сударь, что подобный порядок имеет свои неудобства, и можно ли предполагать, что, столь заботливо укрепляя влияние женщин, мужчины добиваются для себя лучшего управления?

Может быть, в свете можно встретить женщин, достойных того, чтобы порядочный человек прислушивался к их советам; но в общем — разве с женщинами надлежит ему советоваться и разве нет других способов почтить их пол, кроме как унижить наш? Я признаю: нет на свете создания, более очаровательного, более способного волновать чувствительное сердце и направлять его к добру, чем милая и добродетельная женщина. Но где искать это небесное существо? Разве не горько созерцать его с таким восхищением в театре, сталкиваясь в обществе с чем-то совсем другим? Между тем обольстительный образ делает свое дело. Прелесть этих героинь благонравия выгодна распутницам. Молодой человек, знакомый со светом лишь по его изображению на сцене, решает, что лучший путь к добродетели — взять себе любовницу, которая будет им руководить; при этом он

рассчитывает найти по меньшей мере Констанцию \* или Сению<sup>1</sup> (\*). Так, доверившись воображаемому образцу, скромной, пленительной внешности, притворной нежности, *pescius auge fallacis*<sup>2</sup>, молодой безумец, думая стать мудрецом, стремится к своей гибели.

Это дает мне повод предложить нечто вроде задачи. Древние, как правило, оказывали большое уважение женщинам<sup>3</sup>, но выражали это уважение тем, что воздерживались выставить их на суд общества и считали, что воздают должное их скромности, умалчивая об остальных достоинствах. Они держались взгляда, что та страна отличается наиболее чистыми нравами, где меньше всего говорят о женщинах, и что самая порядочная женщина — та, о которой меньше всего говорят \*. Именно на основании этого принципа один спартаец гневно прервал чужеземца, безмерно восхвалявшего его знакомую даму: «Перестань позорить честную женщину». Отсюда вытекало также, что у них в качестве возлюбленных и невест фигурируют в комедиях только рабыни или публичные женщины. Древние имели такое высокое понятие о женской скромности, что сочли бы неуважением к этому полу вывести порядочную девушку на сцене<sup>4</sup> хотя бы условно. Одним словом, вид открытого порока был для них менее неприятен, чем вид оскорбляемой стыдливости.

У нас, напротив того, уважением больше всего пользуется как раз та женщина, которая производит больше всего шума, о которой больше всего говорят, которую чаще всего видят в свете, у которой чаще всего обедают, которая смелей всех

---

<sup>1</sup> Не по недомыслию упоминаю я здесь «Сению», хотя очаровательная пьеса эта написана женщиной: всей душой стремясь к истине, я не могу умалчивать о том, что противоречит моему взгляду, и не той или иной женщине, а женщинам вообще отказываю я в талантах мужчины. В частности, талантам автора «Сении» я воздаю должное тем охотней, что она недоброжелательно говорит обо мне, так что дань уважения, которую я ей приношу, чиста и бескорыстна, как все похвалы, вышедшие из-под моего пера. (*Прим. Руссо.*)

<sup>2</sup> «Не ведая перемен ветра». (Гораций, Оды, I, 5, 11—12.)

<sup>3</sup> Они давали им почетные названия, которые у нас уже отсутствуют или же утратили прежний высокий смысл и устарели. Известно, какое применение дал Вергилий слову *matres* \*, описывая случай, когда троянские матери не выказали особого благоразумия. У нас вместо этого есть слово *дамы*, применимое не ко всем женщинам, слово незаметно стареющее и полностью отвергнутое современной модой. Я замечаю, что древние любили выводить свои почетные титулы из законов природы, мы же — только из законов иерархии. (*Прим. Руссо.*)

<sup>4</sup> Если они поступали иначе в трагедии, так это потому, что, согласно лежащим в основе их театра политическим представлениям, считали вполне приемлемым взгляд, согласно которому люди, стоящие наверху общественной лестницы, свободны от стыда и не обязаны считаться с правилами морали. (*Прим. Руссо.*)

задает тон, судит, решает, выносит приговоры, указывает талантам, заслугам, добродетелям их степень и место, чьей благосклонности смиренно и униженно выпрашивают ученые. А на сцене — и того хуже. По существу в свете они ничего не знают, хоть и судят обо всем; в театре же, умудренные познаниями мужчин, став философами благодаря актерам, они подавляют наш пол его собственными же талантами, а глупцы зрители простодушно приходят узнать у женщин то, что те заботливо им продиктовали. Все это по сути дела лишь насмешка над ними, лишь обвинение их в ребяческом тщеславии; и я не сомневаюсь, что наиболее благоразумные среди них этим возмущены. Просмотрите большую часть современных пьес: всюду там — женщина, которая все знает, все объясняет мужчинам. Не кто иной, как придворная дама всегда наставляет маленького Жеана де Сантре \* на путь истинный. Ребенок куска хлеба не сумеет съесть, если воспитательница ему не отрежет. Вот смысл того, что происходит в новых пьесах. Няня — на сцене, дети — в зрительном зале. Повторяю еще раз: я не хочу сказать, что этот метод не имеет своих преимуществ и что такие наставники не могут преподать важные и ценные уроки. Но вернемся к главному вопросу; я спрашиваю: какое обращение — древнее или наше — для женщин почетней и более проникнуто должным уважением к их полу?

По той же причине, благодаря которой женщина в наших трагедиях и комедиях поставлена выше мужчин, молодые люди поставлены там выше стариков. И это — еще одно столь же предосудительное искажение естественных отношений. Так как сочувствие там всегда на стороне влюбленных, получается, что людям пожилым отведена второстепенная роль. Либо, для завязки, они служат препятствием к соединению юных влюбленных и в этом случае вызывают к себе неприязнь; либо сами влюблены и тогда вызывают смех: *Turpe senex miles*<sup>1</sup>. В трагедиях их изображают тиранами, узурпагорами; в комедиях — ревнивцами, ростовщиками, педантами, несносными отцами, которых все стараются обмануть. Вот в каком почтенном виде выводят на театре старость, вот какое уважение внушают к ней молодым людям. Поблагодарим знаменитого автора «Заиры» и «Нанины» \* за то, что он оградил от этого поношения почтенного Лузиньяна \* и доброго Филиппа Умберто \*. Есть еще кое-кто; но разве этого довольно, чтобы остановить поток общественного предубеждения и устранить оскорбительный оттенок, с каким большинство авторов любит изображать возраст мудрости, жизненного опыта и морального превосход-

---

<sup>1</sup> «Жалок солдат одряхлевший». (О в и д и й, Любовные элегии, 1, 9, 4.) (Перев. Я. Б.)



ства? Может ли быть сомнение в том, что привычка видеть стариков всегда отталкивающими на театре заставляет сторониться их в обществе и что, приучившись смешивать тех, которых встречаешь в свете, с болтунами и Жеронтами комедии, начинаешь презирать равно и тех и других? Обратите внимание в любом парижском салоне, с каким самодовольным, надменным видом держатся развязные юнцы, каким твердым и резким тоном они разговаривают, тогда как старцы, робкие и скромные, либо не решаются открыть рот, либо едва удостоиваются внимания. Можно ли наблюдать что-нибудь подобное в провинции и в местах, где не бывает театральных зрелищ? Разве на всем земном шаре, кроме больших городов, убеленная сединой голова не внушает всегда уважения? Мне возразят, что в Париже старики сами содействуют презрительному к себе отношению, отказываясь от приличного их возрасту поведения, бесстыдно усваивая себе наряды и манеры молодежи и волокитствуя по ее примеру; и при этом — вполне естественно, — будучи не в силах угнаться за нею, только роняют себя. Но как раз наоборот: за неимением другого способа стать приемлемыми, вынуждены они прибегать к данному, и для них все же предпочтительней приобретать право доступа в общество хотя бы ценой быть смешными, чем не иметь его вовсе. Конечно, приятные ужимки отнюдь еще не делают их приятными, и шестидесятилетний волокита — фигура не слишком привлекательная; но самая непристойность ее оборачивается к ее выгоде: для женщины только лишнее торжество приковать к своей колеснице Нестора, доказав этим, что даже лед возраста не спасает от огня, зажигаемого ею в сердцах. Вот почему женщины всячески поощряют этих отставных ветеранов Цитеры, имея коварство обращаться, словно с очаровательными кавалерами, со старыми дураками, которые казались бы им менее любезны, если бы были не так нелепы. Но вернемся к нашему предмету.

Это — не единственные плоды, приносимые пьесами, основанными исключительно на любовной интриге. Им приписывают множество других последствий, гораздо более важных и существенных, истинность которых я не берусь здесь обсуждать, но на которые часто и энергично ссылаются церковные авторы \*. Опасность, которую таит в себе картина заразительной страсти, устраняется способом изображения, — возражают им; любовь, представленная на театре, — законна; она имеет в виду благопристойную цель, нередко приносится в жертву долгу и добродетели, а как только становится преступной, так тотчас же карается. Отлично; но не страшно ли пытаться согласовывать вот так, задним числом, сердечные порывы с требованиями разума и ждать указаний от событий, чтобы оценить

положение, их породившее. Причиняемый театром вред заключается не в том, что театр внушает преступные страсти, а в том, что он располагает душу к чувствам слишком нежным, удовлетворяемым затем в ущерб добродетели. Сладостные волнения, которые там испытываешь, сами по себе не направлены на какой-либо определенный предмет, но порождают потребность в нем; они не вызывают самой любви, но предрасполагают к ней; не указывают то лицо, которое мы должны полюбить, но принуждают нас выбрать его. Таким образом, они невинны или преступны, смотря по тому, какое употребление мы из них делаем, в зависимости от нашего характера, а последний не зависит от примера. Если бы даже было правдой, что на театре изображают лишь законные страсти,— разве от этого впечатления были бы слабей, а последствия — менее опасны? Как будто живые образы невинной нежности менее сладостны, менее прелестны, менее способны воспламенять чувствительные сердца, чем образы преступной любви, которым хотя бы отвращение к пороку служит противоядием? Но если мысль о невинности несколько мгновений украшает сопровождаемое ею чувство, то очень скоро привходящие обстоятельства исчезают из памяти, но впечатление страсти, столь нежной, глубоко западает в душу. Если патриций Манлий был изгнан из римского сената \* за то, что поцеловал жену в присутствии дочери, то что в этом поступке само по себе было предосудительного? Решительно ничего; он даже говорил о похвальном чувстве. Но чистый пламень матери мог зажечь в душе дочери пламень нечистых желаний. Тем самым вполне порядочный поступок становился примером, порождающим безнравственность. Таково же и действие дозволенных любовных отношений, изображаемых на театре.

Нас будто бы стараются отвратить от любви, рисуя ее расслабляющее действие. Не знаю, право, как это мыслится авторами, но вижу, что зрители всегда на стороне влюбленного, не имеющего сил бороться против любви, и часто недовольны тем, что он еще недостаточно слаб. Лучший ли это способ избежать сходства с ним?

Напомню вам, сударь, об одной пьесе, на которой мы, если не ошибаюсь, были несколько лет тому назад вместе с вами и которая доставила нам неожиданное удовольствие, потому ли, что автор уснастил ее театральными красотами в большей мере, чем мы ожидали, потому ли, что актриса сообщила собственное ей очарование создаваемой ею роли. Я говорю о «Беренике» Расина. В каком расположении духа находится зритель при начале пьесы? Он чувствует презрение к слабости императора и римлянина, колеблющегося, подобно какому-то ничтожеству, между любовницей и долгом, все время мечущее-

гося в позорной нерешительности, унижающего малодушными жалобами приданный ему историей полубожественный образ. В жалком, салонном воздыхателе мы уже не узнаем благодетеля вселенной и отраду человечества. Но что думает тот же самый зритель после представления? В конце концов он начинает жалеть этого чувствительного человека, которого презирал, сочувствовать той самой страсти, которую вменял ему в преступление, втайне возмущаться, что тому пришлось принести ее в жертву отечественным законам. Вот что каждый из нас испытал во время представления. Роль Тита, очень хорошо исполненная, произвела бы сильное впечатление, если б была более достойна изображаемого персонажа; но все понимают, что главный интерес сосредоточен на Беренике, что от судьбы ее чувства зависит характер катастрофы. Не то чтобы вызывали особое сочувствие ее непрерывные стенания на протяжении всей пьесы; но в пятом действии, где, перестав стенать, она, понурая, с сухими глазами, с упавшим голосом, являла вид холодной печали, близкой к отчаянию, искусство актрисы соединилось с патетикой роли, и зрители, глубоко растроганные, заплакали, хотя у Береники уже не было слез. О чем это говорит, как не об их боязни, что Беренику отошлют, не о предчувствии того страдания, которое переполнит ее сердце, и не о всеобщем желании, чтобы Тит дал себя убедить, хотя б из-за этого пришлось меньше его уважать. Вот вам трагедия, вполне достигающая цели и научающая зрителей преодолевать слабости любви!

Ход событий не оправдывает этих тайных пожеланий, но — неважно! Развязка не уничтожает действия пьесы. Королева уезжает, не простившись с публикой: император отсылает ее *invitus invitam*<sup>1</sup> — можно прибавить также — *invito spectatore*<sup>2</sup>. Пускай Тит остался римлянином, — он одинок: все зрители на стороне Береники.

Если б даже этот вывод мой показался спорным, если б даже кто-нибудь стал утверждать, что основным интересом пьесы является тот пример нравственной силы, который дает нам Тит, преодолевая самого себя, и что именно благодаря этому Береника вызывает особенную жалость, то и это рассуждение приводит опять-таки к моей точке зрения, потому что, как я уже сказал, жертвы, принесенные долгу и добродетели, всегда таят в себе некое очарование даже для испорченных сердец; и то, что чувство это вызывается не пьесой, доказывает его наличие у них до начала представления. Но, несмотря на это, иные удовлетворенные страсти им дороже самой добродетели,

---

<sup>1</sup> Вопреки своей воле (лат.).

<sup>2</sup> Против воли зрителя (лат.).

и, радуясь при виде Тита добродетельного и мужественного, они были бы еще более рады увидеть его счастливым и слабым или во всяком случае охотно согласились бы при этом условии встать на его место. Чтоб ярче оттенить эту мысль, представим себе другую развязку, прямо противоположную той, которую дал пьесе автор. Предположим, что Тит, прислушавшись внимательней к зову сердца и не желая ни нарушать законов Рима, ни отказываться от своего счастья в угоду честолюбию, становится на противоположную точку зрения и принимает решение отречься от престола, чтобы провести остаток жизни у ног Береники. А она, тронутая до глубины души столь великой жертвой, чувствует, что долгом ее было бы отказаться от руки возлюбленного, но тем не менее соглашается выйти за него. И вот они оба, упиваясь чарами любви, душевного спокойствия, чистой совести, отвергнув пустые почести, проникаются тихим восторгом, внушаемым лишь подлинным голосом природы, и решают начать счастливое безвестное существование в каком-нибудь уголке на земле. Пусть трогательная сцена эта будет оживлена чувствами нежными и пылкими, для которых дает повод самый предмет и которые Расин так хорошо изобразил бы. И пусть Тит, покидая римлян, обратится к ним напоследок с речью, подсказанной обстоятельствами и сюжетом. Неужели не ясно, что, если только автор не совсем бездарен, подобная речь заставит всех присутствующих разрыдаться? С таким концом пьеса, если угодно, будет не так хороша, не так назидательна, не так согласна с историей, но разве она будет доставлять меньше удовольствия и зрители будут выходить из театра менее удовлетворенными? Первые четыре акта остались бы почти в прежнем виде; а между тем из них вытекал бы прямо противоположный вывод. До такой степени неоспоримо, что зрелище любви всегда производит больше впечатления, чем правила мудрости, и что действие, производимое трагедией, совершенно не зависит от характера развязки! <sup>1</sup>

Правда ли, что, изображая гибельные последствия необузданных страстей, трагедия учит их остерегаться? Посмотрим, как бывает в действительности. Эти гибельные последствия очень ярко показаны в «Заире»; двое влюбленных платят жизнью, а Оросман — больше, чем жизнью, поскольку он кончает с собой только для того, чтобы освободиться от самого страшного сознания, какое только может овладеть человеческим сердцем: сознанием того, что ты убил свою возлюбленную. Вот поистине внушительные уроки. Хотелось бы мне ви-

---

<sup>1</sup> В седьмой части «Памелы» \* есть очень правильный разбор «Андромахи» Расина, из которого видно, что эта пьеса достигает цели, ей поставленной, не лучше, чем все остальные. (Прим. Руссо.)

деть кого-нибудь, мужчину или женщину, кто мог бы похвастать, что вышел из театра после представления «Заиры» хорошо вооруженным против любви. Что касается меня, то я, мне кажется, слышу, как каждый зритель по окончании представления говорит себе в глубине души: «Ах, только дайте мне настоящую Заиру — я уж устрою так, чтоб не было надобности убивать ее». Если женщины неустанно сбегаются толпой смотреть эту чарующую пьесу и тянут на нее мужчин, то, конечно, не для того, чтоб на примере героини убедиться в ненужности повторять жертву, которая так плохо ей удается, но потому, что среди всех даваемых на театре трагедий нет ни одной, которая показывала бы с бóльшим очарованием могущество любви и власть красоты, и потому что вдобавок ко всему она учит не судить о своей возлюбленной по видимости. То, что Оросман, движимый ревностью, закалывает Заиру, не пугает чувствительную женщину: она видит в этом исступление страсти; лучше погибнуть от руки любимого, чем быть недостаточно любимой.

В каком бы виде ни изображали нам любовь, она пленяет нас, если только это любовь в самом деле. Если изображение получилось плохое, пьеса неудачна; если оно хорошее, то затмевает все остальное. Борьба, беды, страдания делают любовь еще более трогательней, чем если б ей не приходилось преодолевать никаких препятствий. Эти печальные явления не только не отталкивают, но благодаря им она становится еще привлекательнее своими несчастиями. Невольно говоришь себе, что чувство столь восхитительное вознаграждает за все. Этот сладостный образ незаметно размягчает сердце: от страсти берут то, что ведет к наслаждению, не притрагиваясь к тому, что терзает. Никто не считает себя обязанным быть героем, и таким-то путем, восхищаясь благородным чувством любви, попадают во власть любви преступной.

Опасный характер этих образов довершается как раз усилениями, которые направлены на то, чтобы сделать их приятными: на сцене любовь сопрягает всегда благородные сердца, оба влюбленные неизменно образец совершенства. Как же не испытать сочувствия к страсти столь обольстительной, соединяющей два сердца, сами по себе столь привлекательные? Сомневаюсь, чтобы среди всех наших драматических произведений можно было найти хоть одно, где взаимная любовь не вызвала бы благосклонного отношения зрителя. Если какой-нибудь несчастный пылает неразделенным пламенем, его изображают так, что он вызывает отвращение у публики. Считается превосходным приемом изображать влюбленного обаятельным или отвратительным — в зависимости от того, находит его чувство отклик или нет, чтобы оправдать перед публикой отноше-

ние к нему его возлюбленной и наделить чувство всей привлекательностью добродетели. Тогда как, напротив, следовало бы учить молодежь опасаться иллюзий любви, избегать ошибки слепой склонности, вечно воображающей, будто основа ее — уважение, и бояться, как бы иной раз не вверить добродетельное сердце существу, недостойному его забот. Кроме «Мизантропа», я не знаю другой пьесы, где герой сделал бы неудачный выбор<sup>1</sup>. Показать Мизантропа влюбленным не составляло ничего особенного: гениальный ход в том, чтобы изобразить его влюбленным в кокетку. Все остальные женские персонажи на театре — образцы совершенства. Можно подумать, что все они там укрылись. Разве это верное изображение общества? Разве так настораживают против страсти, доводящей до гибели столько благородных людей? Не хватает только, чтобы нас стали убеждать в необходимости для честного человека влюбиться и в том, что женщина, которую любят, не может не быть добродетельной! Славные уроки!

Повторяю еще раз: я не пытаюсь решать вопрос о том, хорошо или дурно делать любовь главной пружиной театрального представления. Я говорю только, что если картины ее бывают порой опасны, то они остаются опасными при всех условиях, чем бы ни старались их прикрыть. Я говорю, что одним лишь лицемерием можно объяснить старания исправить производимое ими впечатление при помощи других и чуждых впечатлений, не доходящих вместе с ними до сердца или очень быстро отсеиваемых им, — впечатлений, которые даже прикрывают опасность и сообщают этому обманчивому чувству новую притягательность, в силу которого оно губит тех, кто ему отдается.

Станем ли мы выводить из самой природы театральных представлений, как таковых, те лучшие формы, какие они способны принять, обратим ли внимание на все, что сделано просвещенным веком и образованным народом для усовершенствования театральных зрелищ у нас — из этих различных соображений можно, думается, вывести то заключение, что моральное воздействие зрелищ в театров не может быть полезным и благотворным само по себе, поскольку, если даже говорить только об их положительных сторонах, они не приносят какой-либо реальной пользы, с которой не было бы связано еще больше вреда. Но уже в силу своей бесполезности театр, решительно не способный исправлять нравы, очень способен портить их. Потакая всем нашим склонностям, он придает новую силу тем из них, которые над нами господствуют; испытываемые

---

<sup>1</sup> Прибавим еще «Лондонского купца»\* — великолепную пьесу, мораль которой бьет в цель точнее, чем какой-либо другой из известных мне французских пьес. (Прим. Руссо.)

при этом беспрестанные волнения утомляют, ослабляют нас, делая еще более беззащитными перед лицом страстей; а возникающее у нас бесплодное сочувствие добродетели только льстит нашему самолюбию, не принуждая следовать ей. Так что те из моих соотечественников, которые не осуждают театральные зрелища самих по себе, — не правы.

Помимо воздействий театра, связанных с изображаемыми предметами, есть и другие, столь же неизбежные, связанные непосредственно со сценой и теми, кто на ней выступает; как раз им-то уже упоминавшиеся нами женевцы приписывают вкус к роскоши, нарядам и развлечениям, введения которого к нам они с полным основанием опасаются. Не только общение с актерами, но посещение театра может привить этот вкус, благодаря всей обстановке и нарядам актеров. Даже если бы речь шла только о том, чтобы прерывать в определенные часы течение гражданских и домашних дел и заполнить досуг, не может быть, чтобы ежедневное регулярное посещение одного и того же места, где забываешь себя и занимаешься посторонними предметами, не прививало гражданину других привычек и не приводило бы к изменению нравов; но каковы будут эти перемены: выгодны или вредны? Ответ на этот вопрос зависит не столько от характера представления, сколько от характера зрителей. Не может быть сомнений, что перемены эти приведут их всех почти к одному и тому же; значит, о различиях надлежит судить по тому состоянию, в каком каждый находился сначала.

Когда развлечения по самой своей природе безразличны, (допустим на минуту, что театральные представления таковы), то о положительной или отрицательной их роли можно судить по характеру занятий, которые они прерывают, — особенно если они настолько ярки, что сами становятся серьезными занятиями и вкус к ним вытесняет вкус к труду. Здравый смысл требует поощрять развлечения для людей, занимающихся вредными делами, и удерживать от тех же развлечений людей, занимающихся делами полезными. Другое общее соображение состоит в том, что нехорошо предоставлять людям праздным и испорченным выбор развлечений — из опасения, как бы они не изобрели таких, которые наиболее соответствуют их порочным склонностям, и не стали бы такими же зловредными в своих наслаждениях, как и в своих делах. Но предоставьте народу простому и трудолюбивому отдыхать от работы, как и когда ему вздумается; тут не придется опасаться, что он начнет злоупотреблять своей свободой, и нет надобности ломать голову над тем, какие бы выдумать для него приятные рассеяния: потому что, как не требуют особых специй кушанья, приправленные умеренностью и голодом, точно так же не много

требуется наслаждений людям, падающим с ног от усталости, для которых уже отдых является желанной отрадой. В большом городе, полном интриганов, праздношатающихся, людей без религии, без принципов, чье воображение, развращенное бездельем и праздностью, жаждой наслаждений и непомерными требованиями, порождает одни химеры и толкает лишь на преступления; в большом городе, где нравственность и честь — ничто, где каждый, легко скрывая свое поведение от глаз общества, расценивается лишь по своему кошельку и пользуется почетом, смотря по богатству, блюстители порядка должны всячески умножать дозволенные наслаждения и стараться сделать их привлекательными, чтоб отнять у частных лиц соблазн искать других, более опасных. Поскольку мешать им заниматься своим делом значит мешать творить зло, два часа, ежедневно похищаемые у порока, избавляют общество от одной двенадцатой части преступлений, которые были бы совершены. Кроме того, беседы — в кофейнях и других притонах местных бездельников и прохвостов — о виденных или ожидаемых театральном зрелищах тоже оборачиваются к выгоде отцов семейств, охраняя честь дочерей и жен, либо кошельки — самих отцов и их сыновей.

Но в маленьких городах, в местах, менее населенных, где частные лица, находясь все время на глазах у общества, являются естественными цензорами нравов по отношению друг к другу и где полиция легко осуществляет свой надзор над всеми, следует держаться противоположных правил. Если имеется промышленность, ремесла, мануфактура, ни в коем случае нельзя предлагать развлечений, ослабляющих тот острый интерес, который превращает самые хлопоты в наслаждение и обогащает верховную власть за счет скупости подданных. Если же страна, где нет торговли, кормит жителей, чуждых предприимчивости, отнюдь не поощряя праздности, к которой они и без того слишком склонны благодаря своему непритязательному и легкому образу жизни, надо сделать этот образ жизни для них несносным, принудить их посредством скуки употреблять с пользой время, которым они не способны злоупотребить. Я знаю: в Париже, где обо всем судят по внешности, не имея возможности что-либо рассмотреть как следует на досуге, полагают, на основании того впечатления лени и бездействия, которое производит большинство наших провинциальных городов на первый взгляд, будто жители их, погруженные в тупую апатию, только прозябают или ссорятся и грызутся между собой. Ошибочность этого мнения сразу становится ясной, если только вспомнить, что большинство литераторов, блистающих в Париже, большинство полезных открытий и новых изобретений пришло туда из этих столь презираемых



провинций. Поживите в каком-нибудь маленьком городке, где вы предполагали встретить одних только автоматов: очень скоро вы не только найдете там людей гораздо более разумных, чем те обезьяны, что водятся в ваших больших городах, но почти наверно также пребывающего в неизвестности даровитого человека, который удивит вас своими талантами, своими трудами, которого вы удивите еще больше своим изумлением и который, показывая вам чудеса трудолюбия, терпения и искусства, будет думать, что все это вещи в Париже самые обычные. Таково простодушие подлинного гения: он чужд интригам и суете; он не знает дороги к почестям, к богатству и не помышляет о поисках ее; он не сравнивает себя ни с кем; все его средства — в нем самом; равнодушный к оскорблениям и мало чувствительный к похвалам, он, хоть и знает себя, но не претендует на подобающее ему место и находит удовлетворение в самом себе, не задумываясь над тем, какая ему цена.

Конечно, в маленьком городе наблюдается относительно меньше деятельности, чем в столице, так как страсти не столь пылки и потребности менее настоятельны. Но там больше оригинальных умов, больше изобретательного мастерства, больше настоящих новинок, оттого что нет такой подражательности, оттого что за недостатком образцов каждый извлекает больше из самого себя и вкладывает во все, что делает, больше своего; оттого что ум человека, менее разбросанный, менее затопляемый пошлыми суждениями, лучше развивается и всходит в спокойном уединении; оттого что, видя меньше, тщательней всматриваешься; наконец, оттого, что, не стесненный временем, имеешь больше досуга продумывать и доводить свои мысли до конца.

От дней моей молодости у меня сохранился в памяти один вид в окрестностях Невшателя, довольно приятный и, быть может, в своем роде единственный. Целая гора, покрытая домиками, причем каждый расположен в центре принадлежащего к нему земельного участка, так что домики эти, разделенные расстоянием столь же равным, как и достатки их хозяев, обеспечивают многочисленным обитателям города в одно и то же время сосредоточенность уединения и радости общения с себе подобными. Эти счастливые крестьяне, свободные от всякого гнета, не знающие ни податей, ни налогов, ни управляющих, ни барщины, обрабатывают со всем возможным тщанием свои владения и снимают с них урожай, принадлежащий только им, употребляя остаток времени на тысячу всяких поделок и применяя с выгодой изобретательные способности, дарованные им природой. В особенности зимой, когда высокие сугробы крайне затрудняют сообщение, каждый, сидя в тепле со своей многочисленной семьей, в своем хорошеньком и чистеньком деревян-

ном домике<sup>1</sup>, построенном им самим, занят множеством увлекательных работ, изгоняющих скуку из его приюта и содействующих его благосостоянию. В эту страну никогда не заходит ни столяр, ни слесарь, ни стекольщик, ни токарь по профессии. Каждый сам является столяром, слесарем, стекольщиком, токарем — но для себя, не для другого; среди множества мебели, удобной и даже изящной, составляющей обстановку и убранство их жилищ, не найдешь ни одного предмета, который не был бы сделан рукой самого хозяина. И у них остается еще свободное время на изобретения и выделку тысячи всяких приборов из стали, дерева, картона — на продажу иностранцам, причем иные из этих вещей доходят до Парижа, — в частности, те маленькие стенные часы, что впервые появились там несколько лет тому назад. Они делают их из железа; мастерят даже и карманные. И — что кажется просто невероятным — каждый совмещает в своем лице все разнообразные профессии, на которые распадается часовых дел мастерство, и сам изготавливает для себя все нужные инструменты.

Это не все: у них есть хорошие книги, и они довольно образованны; основательно судят обо всем, а обо многом — умно<sup>2</sup>. Они изготавливают сифоны, магниты, зрительные трубы, насосы, барометры, камер-обскуры; убранство их стен составляет множество всевозможных инструментов; жилую комнату крестьянина можно принять за мастерскую механика и физическую лабораторию. Все они немного умеют рисовать, писать красками, считать; большинство играет на флейте. Некоторые знакомы с музыкой и хорошо поют. Эти искусства восприняты ими не от учителей, а передаются от одного к другому, так сказать, по традиции. Из тех музыкантов, с кем мне приходилось иметь дело, один говорил мне, что выучился от отца, другой от тетки, третий от двоюродного брата; иные утверждали, что знали музыку всегда. Одним из самых распространенных удовольствий является у них пение псалмов с женой и детьми, на четыре голоса; и удивительно слышать плывущие из этих сель-

---

<sup>1</sup> Я будто слышу тут, как и во многих других местах, протесты какого-нибудь парижского умника; на этот раз он, если только не читает сам, с ученым видом доказывает дамам (ведь именно к дамам главным образом обращаются эти господа со своими доказательствами), что деревянный дом не может быть теплым: «Грубый обман! Это противоречит законам физики! Какой жалкий автор!» Что ж, не буду спорить. Знаю только, что швейцарцы среди снега проводят зиму в тепле — в деревянных домах. (*Прим. Руссо.*)

<sup>2</sup> В качестве примера могу привести одного почтенного человека, хорошо известного в Париже и не раз получавшего лестное одобрение Академии наук. Это знаменитый валезец г-н Риваз\*. Я хорошо знаю, что среди его соотечественников мало ему равных: но в конце концов ведь именно живя, как они, сумел он так выдвинуться. (*Прим. Руссо.*)

ских хижин сильные мужественные напевы Гудимеля\*, так давно позабытые нашими учеными музыкантами.

Неустанно посещал я также эти очаровательные домики, обитатели которых оказывали мне самое широкое гостеприимство. К сожалению, я был слишком молод: любопытство мое было детское, и я думал больше о развлечениях, чем о познании. За тридцать лет то немногое, что я успел заметить, стерлось из моей памяти. Помню только, что меня всегда восхищала в этих странных людях удивительная смесь тонкости и простоты, на первый взгляд почти несовместимых, — смесь, которой я не наблюдал больше нигде. Но у меня не сохранилось воспоминаний о их нравах, обычаях и характерах. А нынче, когда я взглянул бы на все это другими глазами, неужели мне больше никогда не придется посетить этого счастливого края? Увы, он на пути к моей родине!

Теперь, имея о нем некоторое представление, допустим, что на вершине горы, о которой я только что говорил, в самом центре жилых зданий, устраивают постоянный дешевый театр, — скажем, под предлогом обеспечить людям, вечно занятым, благопристойный отдых за небольшую плату. Представим себе также, что они к этим зрелищам приохотились, и посмотрим, что должно из устройства такого театра впоследствии.

Мне ясно, что, после того как их работы перестанут быть для них развлечением, ввиду появления новых, это последнее отвратит их от прежних; усердие уже не будет обеспечивать столько досуга и былого изобретательства. К тому же у посетителей театра часть времени будет каждый день просто потеряна; кроме того, невозможно сразу приниматься за работу, когда голова полна виденным: о нем думают, говорят. Отсюда ослабление трудовых усилий — первый ущерб.

Какова бы ни была входная плата, ее все же берут. Это как никак новый расход, которого прежде не было. Плати за себя, за жену, за детей, если ты взял их с собой, — а иногда их нужно брать. Кроме того, мастеровой не пойдет ни в одно собрание в рабочей одежде: придется чаще надевать праздничный костюм, чаще менять белье, пудрить волосы, бриться; на все это нужно время и деньги. Рост расходов — второй ущерб.

Менее упорный труд и возросшие расходы надо как-то покрывать: это должна сделать цена изделий, которые придется продавать дороже. Многие торговцы, недовольные этим повышением, отступятся от монтаньонов<sup>1</sup> и обратятся к другим швейцарцам, их соседям, которые, не уступая тем в мастерстве, не имеют театра и потому не повысят цен. Сокращение сбыта — третий ущерб.

---

<sup>1</sup> Так называют здесь жителей этой горы. (Прим. Руссо.)

В дурную погоду дороги становятся непроходимыми. Но труппе надо чем-то жить, и она не станет отменять представлений. Следовательно, и в такие периоды придется содержать в порядке подходы к театру. Зимой — прокладывать дороги в снегу и, быть может, мостить их, — а то еще, помилуй нас боже, устанавливать на них фонари! Вот вам общественные расходы, иными словами, взносы частных лиц. Введение налогов — четвертый ущерб.

Жены монтаньонов, привыкнув ходить в театр, — сперва, чтобы посмотреть, а потом, чтобы себя показать, — захотят нарядов, и притом элегантных. Жена г-па судьи не захочет появляться в театре одетой, как жена учителя; жена учителя будет прилагать все усилия к тому, чтобы одеваться, как жена г-на судьи. Из этого скоро возникнет соревнование в нарядах, которое разорит мужей, быть может захватит их и начнет без конца изобретать тысячи новых способов, как обходить законы против излишеств. Появление роскоши — пятый ущерб.

Остальное нетрудно себе представить. Не перечисляя остальных нежелательных явлений, о которых я говорил или буду еще говорить дальше, не касаясь характера зрелища и его морального воздействия, я придерживаюсь исключительно вопроса труда и заработка и рисую на этой основе, думается, неопровержимую картину того, как народ обеспеченный, но обязанный своим достатком собственным трудам, променяв действительность на призрак, разоряется в то самое время, как рассчитывает блеснуть.

Впрочем, нет надобности доказывать фантастичность моего предположения: я ведь говорю о нем именно как о предположении, желая только сделать более или менее ясными его неотвратимые последствия. Устраните некоторые подробности, и вы обнаружите в других местах таких же монтаньонов, и *mutatis mutandis*<sup>1</sup> — пример опять подойдет.

Итак, даже если бы было верно, что театральные зрелища не заключают в себе ничего вредного как таковые, все же нужно было бы всякий раз выяснять, не окажутся ли они вредными для того народа, которому их предназначают. В иных местах они окажутся полезными, привлекая иностранцев, увеличивая денежный оборот, поощряя художников, разнообразя моды, занимая умы людей слишком богатых или рвущихся к богатству, смягчая их характеры, отвлекая народ от мысли о его несчастьях, заставляя его забывать о своих руководителях, при виде своих шутов, поддерживая и совершенствуя вкус там, где пропала честность, покрывая лоском учтивости безобразие порока, — словом, не позволяя безнравственности превратиться

---

<sup>1</sup> С необходимыми поправками (лат.).

в открытый разбой. В других местах они послужили бы только к уничтожению трудолюбия, расстройству промышленности, разорению частных лиц, развитию в них духа праздности, поискам легких способов существования. поощрению в народе бездеятельности и вялости, равнодушия к вопросам общественной и частной жизни, которыми ему надлежит заниматься, осмеиванию благоразумия, замене добродетельных поступков театральным жаргоном, перенесению всей морали в область метафизики, превращению граждан в остроумцев, матерей семейств в щеголих, а дочерей в театральные любовницы. Общее воздействие будет одинаковым на всех людей. Но люди, таким образом измененные, будут более или менее соответствовать своим странам. Уравнявшись, дурные выиграют, а хорошие еще больше потеряют, всеми овладеет расслабленность, дух бездеятельности, который отнимет у одних великие добродетели, а других удержит от великих преступлений.

Из этих новых соображений следует вывод, прямо противоположный тому, который я сделал из прежних, а именно — что если народ развращен, то зрелища ему полезны, если же он сам по себе хорош, то они вредны. Может показаться, что два эти противоположные положения друг друга взаимно уничтожают и театральные зрелища не имеют никаких последствий ни для кого. Но тут есть та разница, что воздействие, углубляющее добро и зло, определяется духом пьес и подвержено, как и они, тысяче изменений, которые сводят его почти на нет; тогда как воздействие, превращающее добро в зло и зло в добро, вытекающая из самого существования театральные зрелища, представляет собой воздействие постоянное, реальное, ежедневно повторяющееся и в конце концов не может не привести к цели.

Отсюда следует, что для суждения о том, уместно или нет учредить театр в том или ином городе, надо прежде всего знать, хороши или дурны в нем нравы, — вопрос, по которому мне, быть может, неудобно высказываться, когда речь идет о нас. Как бы то ни было, единственная уступка, на какую я могу пойти в данном случае, это допустить, что театр комедии не причинит нам вреда, если ничто другое не может этого сделать.

Чтобы предотвратить нежелательные последствия, которые могут вызвать примеры, подаваемые актерами, вы хотите, чтоб их заставили стать порядочными людьми. По вашим словам, мы тогда будем иметь и театральные зрелища, и добрые нравы, пользуясь преимуществами того и другого. Театральные зрелища и добрые нравы! Вот поистине зрелище, на которое стоило бы посмотреть — тем более что это было бы впервые. Но какое же средство предлагаете вы нам для обуздания акте-

ров? Строгие законы, неукоснительно соблюдаемые. Тем самым вы признаете, что актеры требуют обуздания и что обуздать их нелегко. Строгие законы! Первый из них — вовсе не допускать у себя актеров. Если нарушен этот, к чему послужит строгость остальных? Законы, неукоснительно соблюдаемые! А как это возможно? Ведь сила закона имеет свои пределы, сила караемых пороков — тоже. Только сравнив эти две величины и обнаружив, что первая превосходит другую, можно получить уверенность в осуществлении этих законов. Знание этих соотношений составляет подлинную науку законодателя: потому что если бы для устранения возникающих злоупотреблений достаточно было бы издавать указ за указом, предписание за предписанием, конечно, было бы провозглашено немало замечательных вещей, но они в большинстве своем оставались бы без всяких последствий, играя скорее роль указаний на то, что надлежит делать, чем средством осуществить это. В сущности, издание законов не такое уж хитрое дело, чтобы любой человек, наделенный здравым смыслом и чувством справедливости, не мог прекраснейшим образом сам изобрести такие законы, которые, при тщательном их соблюдении, оказались бы самыми полезными для общества. Где тот юный птенец, изучающий право, который не составил бы кодекса морали, столь же чистой, как в законах Платона? Но не в этом дело. А в том, чтобы до такой степени приспособить этот кодекс к народу, для которого он создан, и к предметам, по которым он содержит определения, что соблюдение его предreshалось бы одним сочетанием этих условий; дело в том, чтобы по примеру Солона дать народу законы, не столько превосходные сами по себе, сколько наиболее подходящие для него в данном положении \*. В противном случае лучше просто мириться с неустройством, чем предотвращать или устранять его при помощи законов, которые не будут соблюдаться: ведь это значит не только не победить зла, но еще и унижить закон.

Другое соображение, не менее существенное, состоит в том, что вопросы нравственности и всеобщей справедливости, в отличие от вопросов частной справедливости и правовых в узком смысле слова, не регулируются указами и законами; или же если иной раз законы и влияют на нравственность, то лишь когда они черпают в ней свою силу. В таких случаях они возвращают ей ту самую силу — путем своеобразной реакции, хорошо известной настоящим политикам. Первая обязанность эфоров \* в Спарте при вступлении в должность состояла в публичном обращении к гражданам, в котором они внушали последним необходимость — не то что соблюдать законы, а любить их, чтобы их соблюдение не казалось в тягость. Это обращение, представлявшее собой отнюдь не набор пустых формул, пре-

красно отражает дух государственного устройства Спарты, благодаря которому законы и добрые нравы, тесно слившись в сердцах граждан, составляли там как бы одно целое. Но не будем обольщаться мыслью, будто Спарта может возродиться там, где царит торговля и страсть к наживе. Будь у нас те же правила, можно было бы без всякого риска учредить в Женеве театр; ведь тогда бы ни один гражданин и ни один горожанин не переступили бы его порога \*.

Каким же путем может правительство управлять нравами? Я утверждаю, что через общественное мнение. Если в уединении привычки наши имеют своим источником наш собственный образ мыслей, то в обществе они имеют источником мнение окружающих. Когда живешь не в себе, а в других, тогда их суждения определяют все: отдельным лицам представляется хорошим и желательным только то, что одобряет общество, и единственное счастье, известное большинству, состоит в том, чтоб тебя почитали счастливым.

Что же касается орудий, при помощи которых можно руководить общественным мнением, то это другой вопрос, который было бы излишне рассматривать здесь для вас и не место рассматривать для толпы. Ограничусь наглядным примером, доказывающим, что этими орудиями не являются ни законы, ни наказания, ни какие бы то ни было меры принуждения. Этот пример у нас перед глазами; я заимствую его у вашей родины: это трибунал маршалов Франции \*, как высшее судилище в вопросах чести.

Какую задачу имело это учреждение? Изменить взгляд общества на дуэли, на удовлетворение обид и на те случаи, когда честный человек вынужден под угрозой позора потребовать расплаты за оскорбление со шпагой в руке. Отсюда следует:

Во-первых, то, что, поскольку сила не имеет никакой власти над умами, надлежало устранить со всем возможным тщанием из действий трибунала, призванного произвести эту перемену, малейший признак насилия. Самое слово *трибунал* было выбрано неудачно. Я предпочел бы *суд чести*. Единственным его оружием должны были быть честь и позор: никаких материальных возмещений, никаких телесных наказаний, ни тюрем, ни арестов, ни вооруженной охраны. Просто — судебный исполнитель, вызывающий обвиняемого в суд прикосновением белой палочки, без каких-либо дальнейших мер понуждения к явке. Правда, не предстать в назначенный час перед судом чести значило признаться в своей несостоятельности, значило осудить самого себя. Это неизбежно влекло за собой официальное бесчестие, лишение дворянского звания, отстранение от королевской службы в судах, в армии и другие наказания того же рода, непосредственно связанные с общест-

венным мнением или представляющие собой его необходимое следствие.

Во-вторых, то, что для искоренения общественного предрассудка нужны были судьи высоко авторитетные в данных вопросах; и надо признать, что в этом пункте учредитель глубоко продумал идею учреждения: ибо кто среди народа сплошь воинственного может лучше судить о справедливых поводах выказать свою храбрость и о таких, когда оскорбленная честь требует удовлетворения,— как не бывшие военные, удостоенные почетных титулов, увенчанные лаврами и сотни раз доказавшие ценой своей крови, что им хорошо известно, когда честь требует ее пролития?

В-третьих, так как суждение публики как нельзя более независимо от высшей власти, монарх должен бы был больше всего остерегаться примешивать свои произвольные решения к приговорам, выражающим это суждение — более того, определяющим его. Он должен был, наоборот, стараться поставить суд чести выше его самого, как если бы сам он был подчинен его непререкаемым постановлениям. Но тогда не следовало начинать с огульного осуждения на смерть всех дуэлистов, что привело бы к грубому столкновению между честью и законом, так как даже закон не может заставить человека примириться с бесчестьем. Если весь народ решил, что данный человек трус, король, несмотря на всю свою власть, тщетно будет объявлять его храбрым,— никто этому не поверит: а этот человек, прославившись трусом, желающим вернуть себе доброе имя путем принуждения, заслужит лишь еще большее презрение. Если же в указах сказано, что драться на дуэли противно воле божьей, то это, конечно, весьма благочестивое утверждение; но гражданское право — не судья грехам, и всякий раз как высшая власть пытается вмешиваться в конфликт между честью и религией, она только компрометирует себя и в том и в другом отношении. Те же указы рассуждают не лучше, говоря, что надлежит не драться, а обращаться к маршалам: осуждать таким образом поединок, не делая никаких различий и оговорок, значит самому заранее выносить решение по вопросу, который ты решил передать на их рассмотрение. Известно, что им не дозволено разрешать дуэль даже в тех случаях, когда оскорбленная честь не имеет другого выхода; а с точки зрения светских предрассудков таких случаев очень много, ибо, что касается условных способов удовлетворения обиженных, то это просто-напросто детские игрушки.

Человек имеет право принять извинение за себя и простить своего врага за личную обиду,— вот правило, которое, при искусном его применении, можно постепенно поставить на место свирепого предрассудка, ему враждебного. Но иначе об-



стоит дело в тех случаях, когда пострадала честь людей, с которыми связана наша: тут уж никакое соглашение невозможно. Если мой отец получил пощечину, если оскорбили мою сестру, мою жену или возлюбленную, неужели я сохраняю свою честь, сторговавшись за счет их чести? Тут не помогут никакие маршалы, никакое удовлетворение: я должен за них отомстить или утратить честь; указы предоставляют мне на выбор только казнь или позор. В качестве примера, относящегося к нашему предмету, приведу следующее: где же согласие между духом сцены и духом законов — если мы в театре стали бы аплодировать Сиду, а потом пошли на Гревскую площадь смотреть, как его будут вешать!

Так что ничего не поделаешь: ни разум, ни добродетель, ни закон не преодолеют общественного мнения до тех пор, пока не откроют способов изменить его. Повторяю еще раз: способы эти не имеют ничего общего с насилием. Обычные средства, если бы их применяли, приводили бы только к наказанию честных людей и спасению трусов; но, к счастью, они слишком нелепы, чтоб ими можно было пользоваться, и поэтому привели только к переименованию дуэлей. Как же надо было подойти к делу? Надо было, мне кажется, полностью подчинить поединки между частными лицами ведению маршалов, как в отношении суда за них, так и в отношении их запрета и даже разрешения. Нужно было не только предоставить маршалам право допустить поле в тех случаях, когда они считали это правильным; но важно было бы, чтоб они действительно пользовались иногда этим правом, хотя бы для того, чтобы уничтожить имеющееся у публики довольно упорное представление, которое одно сводит на нет весь их авторитет, а именно — что при рассмотрении дел они руководствуются не столько собственным разумением, сколько волей монарха. Тогда не было бы ничего позорного в том, чтобы испросить у них разрешение на поединок в случае надобности; и даже в том, чтобы воздержаться от поединка, если поводы для него найдены недостаточными; но по-прежнему было бы позорным говорить: «Меня оскорбили. Устройте так, чтобы мне не надо было драться».

При таком порядке все тайные вызовы тотчас подвергались бы неминуемому осуждению, так как, раз оскорбленная честь имеет возможность защищаться, а храбрость — проявиться на поле чести, людей, предпочитающих драться негласно, вполне справедливо брали бы под подозрение, а те, относительно которых суд чести решил, что они дрались неправильно<sup>1</sup>, подпа-

---

<sup>1</sup> Неправильно, то есть не только трусливо или прибегая к обману, но несправедливо и без достаточных оснований, что, естественно, относилось бы кс всякому делу, не представленному в трибунал. (Прим. Руссо.)

дали бы, как низкие убийцы, действию уголовного суда. Допускаю, что, поскольку многие дуэли попадали бы в поле зрения суда чести лишь задним числом, а иные даже официально санкционировались бы, это стоило бы некоторым порядочным людям жизни; но бесконечное количество таких жизней было бы в дальнейшем сохранено, тогда как кровь, проливаемая вопреки указам, дает основание проливать ее и дальше.

Что же произошло бы потом? Суд чести, по мере укрепления его авторитета во мнении публики благодаря разумности и основательности его решений, мало-помалу становился бы строже, пока число законных случаев не свелось бы совсем на нет, понятие чести не переменило бы своих оснований и дуэли не прекратились бы совершенно. Правда, всех этих трудностей на деле не произошло, но в то же время было создано совершенно ненужное учреждение. Если дуэли теперь редки, так не оттого, что они презираемы и преследуемы, а оттого, что изменились нравы;<sup>1</sup> и доказательством того, что это изменение вызвано совсем другими причинами, к которым правительство не имеет никакого отношения, доказательством того, что общественное мнение в этом пункте нисколько не изменилось, служит тот факт, что после стольких бесплодных усилий всякий дворянин, не потребовавший удовлетворения за обиду со шпагой в руке, по-прежнему считается опозоренным, как это было и раньше.

Четвертое следствие, вытекающее из цели, поставленной перед этим учреждением, состоит в том, что, раз никто не может жить в обществе обещенным, все сословия, носящие шпагу, от монарха до рядового, и даже те, которые не носят ее, должны предстать перед этим судом чести, чтобы отчитаться, одни в своем поведении и поступках, другие в своих речах и взглядах, все — в равной мере подчиненные необходимости быть отмеченными знаком почета или клеймом позора — в зависимости от согласия или расхождения их образа жизни и мыслей с принципами чести, которые сложились у данного народа и постепенно реформируются трибуналом, сообразно началам справедливости и разума. Ограничить его компетенцию дворянами и всенными — значит срезать побеги, оставляя нетронутым корень; потому что если чувство чести заставляет

---

<sup>1</sup> Прежде люди ссорились в трактире; их отучили от этого грубого удовольствия, понизив цены на другие. Прежде они резали друг друга из-за любовницы; в результате более тесного общения с женщинами они убедились, что из-за них не стоит драться. За вычетом опьянения и любви остается мало поводов для разногласий. В свете теперь дерутся только из-за азартных игр. Военные дерутся только тогда, когда их обходят по службе или чтобы не быть вынужденными подать в отставку. В наш просвещенный век все научились оценивать свою честь и жизнь с точностью до одного эю. (Прим. Руссо.)

дворянство действовать, то народ оно заставляет говорить; одни дерутся только потому, что другие их судят, и для того, чтоб изменить образ действий, целью которого является уважение общества, надо прежде изменить суждение о нем. Я убежден, что добиться этих изменений никогда не удастся, если не привлечь к делу самих женщин, от которых в значительной мере зависит образ мыслей мужчины.

Из этого принципа следует также, что трибунал должен при известных условиях внушать страх всем сословиям пропорционально той чести, которую они могут потерять по понятиям толпы, являющимся в таких случаях обязательным мерилом. Если это учреждение хорошо поставлено, великие мира сего и монархи должны дрожать при одном его упоминании. Надо было в момент основания трибунала передать на его рассмотрение все имевшиеся тогда в королевстве личные распри между знатными, с тем чтобы он разрешил их по возможности на основании одних законов чести, чтобы приговоры его были строги, чтобы он карал ограничениями в правах и общественном положении, исходя только из проступка, независимо от ранга провинившегося, лишением права носить оружие или присутствовать при выходе короля, либо другими подобными наказаниями, которые ничтожны сами по себе, но тяжелы в глазах общества, — кончая преданием позору, которое можно было бы рассматривать как высшую меру, применяемую судом чести; чтобы все эти кары имели, благодаря поддержке со стороны верховной власти, такие же последствия, какие по самой природе своей имеет суд общества, когда его решений не отменяет сила; чтобы трибунал не выносил постановлений по пустячным поводам, но чтоб он никогда ничего не делал наполовину; чтобы он мог сослаться на пример самого короля, который выбросил свою трость в окно \*, по его словам, из боязни ударить дворянина; <sup>1</sup> чтобы сам король в этом случае предстал в качестве обвиняемого, вместе с противной стороной, был торжественно судим и обязан был дать удовлетворение дворянину за нанесенное косвенное оскорбление, и чтобы в то же время трибунал присудил ему почетную награду за проявленную монархом сдержанность в гневе. Награда эта — какой-нибудь простой, но приметный значок, который король носил бы всю жизнь, — была бы для него, мне кажется, украшением более ценным, чем королевские ордена, и я уверен, воспета не одним поэтом. Бесспорно то, что в делах чести сами короли, больше чем кто-либо другой, подсудны общественному мнению и, следовательно, могут без всякого унижения предстать перед трибуналом,

---

<sup>1</sup> Г-на Лозена \*. Вот, на мой взгляд, благородное употребление трости. (Прим. Руссо.)

который это мнение представляет. Людовик XIV был способен на такие благородные поступки и, думается, совершал бы их, если бы кто-нибудь навел его на мысль об этом.

При соблюдении всех этих и других таких же предосторожностей сомнительно, однако, чтобы дело удалось, так как подобное учреждение совершенно чуждо духу монархии. Но можно быть уверенным, что, пренебрегши ими, решив смешать силу и закон в вопросах, где властвует предрассудок, и изменить понятие чести с помощью насилия, подорвали королевский авторитет и унизили законы, выходящие за пределы, коими их власть ограничена.

Между тем в чем заключается предрассудок, который подлежал устранению? В самой нелепой и варварской мысли, какая только приходила человеку на ум, — будто все обязанности перед обществом сводятся к храбрости; будто человек — не мошенник, не плут, не клеветник, а порядочен, благовоспитан, учтив, если умеет драться; будто ложь превращается в истину, кража становится законной, предательство честным, измена похвальной, если только все это утверждают с оружием в руках; будто оскорбление всегда можно изгладить ударом шпаги; и будто достаточно убить человека, чтоб доказать свою правоту в ссоре с ним. Конечно, есть и другой вид поединков, в котором к жестокости примешивается изящество и когда убивают лишь нечаянно: это поединки до первой крови. Господи боже, до первой крови! Да на что тебе нужна эта первая кровь, хищный зверь? Неужто ты хочешь упиться ею? Думать невозможно об этих ужасах без волнения! Вот предрассудки, которых французские короли, во всеоружии своей власти над обществом, были не в состоянии ниспровергнуть. Общественное мнение — этот властелин мира — не подчинено королям; они сами рабы его.

Заканчиваю это длинное отступление, — к сожалению, не последнее; и от примера, быть может, слишком яркого, *si parva licet componere magnis*<sup>1</sup>, перехожу к более простым случаям. Одним из неминуемых результатов учреждения театра в таком маленьком городе, как наш, явится изменение наших принципов или, если угодно, наших предрассудков и общественных взглядов, что поведет неизбежно к замене наших нравов — лучшими или худшими, этого пока не касаюсь, но, разумеется, менее соответствующими нашему строю. Я спрашиваю, сударь, с помощью каких действительных законов предотвратите вы это? Если правительство способно влиять на нравы, то лишь в начале своего установления: однажды определив их, оно не только не имеет больше власти их изменять, не изменяясь само,

---

<sup>1</sup> ...коль сравнить нам малое можно с великим (Вергилий, Георгики, IV, 176). (Перев. С. В. Шервинского.)

но даже с великим трудом охраняет их от неизбежных случайностей, которые на них обрушиваются, и от естественных склонностей, которые их ухудшают. Общественные взгляды, так трудно поддающиеся управлению, сами по себе, однако, весьма подвижны и изменчивы. Случай, тысяча неожиданностей, тысяча непредвиденных обстоятельств делают то, чего не в состоянии сделать ни сила, ни разум; или, вернее, именно потому, что ими движет случай, сила не имеет над ними власти; подобно тому как кости, как их ни кидай, не покажут обязательно ожидаемого числа.

Все, что может сделать человеческая мудрость, — это предупредить изменения, пресекать загодя все, что их вызывает; но раз примирившись с ними и допустив их, трудно уже регулировать их последствия и никогда нельзя быть уверенным, что сможешь делать это. Как же предупредим мы те последствия, причину которых добровольно ввели сами? Не предложите ли вы нам, взяв за образец учреждение, о котором я только что говорил, ввести цензуру? Она у нас уже есть<sup>1</sup>, и если вся сила такого суда еле справляется с задачей соблюсти нас такими, какие мы есть, то когда добавится новая склонность к ухудшению нравов, что сумеет он сделать, чтоб задержать этот процесс? Ясно, что он с этим не справится. Первым признаком его бессилия предупредить злоупотребления, вызываемые театром, явится согласие учредить театр, ибо не трудно предвидеть, что два таких учреждения не могут долго существовать рядом и что либо театр поставит цензоров в смешное положение, либо цензоры настоят на изгнании актеров.

Но дело не только в том, что недостаточно одних законов, чтобы устранять дурные нравы, не затрагивая их причины. Предвижу: мне скажут, что, уйдя с головой в вопрос о злоупотреблениях, неизбежно порождаемых театром, и общей невозможности их предупредить, я высказываюсь с достаточной ясностью относительно предлагаемого выхода, а именно: иметь в качестве актеров людей порядочных, — иначе говоря, сделать их порядочными. Но по сути дела обсуждать этот частный пункт уже нет особой надобности: все сказанное мной выше о действии театра, безотносительно к нравам актеров, сохраняет свою силу и для того случая, если бы они извлекли действительную пользу для себя из тех уроков, которые вы убеждаете нас преподавать им, и стали бы благодаря нашим заботам чуть не образцами добродетели. Однако, считаясь с мнением тех моих соотечественников, которые не видят в учреждении театра иной опасности, кроме дурного примера со стороны актеров, я готов рассмотреть подробнее, можно ли, даже при этом предположе-

---

<sup>1</sup> Консистория и Палата реформ \*. (Прим. Руссо.)

нии, рассчитывать на какой-нибудь успех, воспользовавшись указанным средством, и достаточно ли оно для того, чтобы их успокоить.

Наблюдая факты, прежде чем вскрывать их причины, я замечаю, что само положение актера связано с распущенностью и безнравственностью; что мужчины там предаются разврату, а женщины ведут безобразную жизнь; что те и другие в одно и то же время жадны и расточительны, вечно по уши в долгах и, вечно соря деньгами направо и налево, столь же несдержанны в своих развлечениях, сколь неразборчивы в способах покрытия расходов. Вижу также, что во всех странах ремесло их считается позорным, что те, кто им занимается, отлученные от церкви или нет, всюду презираемы<sup>1</sup> и что даже в Париже, где они пользуются бóльшим уважением и лучше ведут себя, чем где бы то ни было, горожанин не решился бы водить компанию с теми самыми актерами, которых можно видеть каждый день за столом у знатных. Третье наблюдение, не менее существенное, состоит в том, что это пренебрежение тем сильнее, чем нравы чище, и что есть страны, отличающиеся невинностью и простотой, где ремесло комедианта внушает почти ужас. Таковы неоспоримые факты. Вы мне скажете, что они основаны на предрассудках. Согласен; но поскольку предрассудки эти — явление всеобщее, нужно искать их общую причину — и я не представляю себе, чтобы ее можно было найти где бы то ни было, помимо самой профессии, к которой они относятся. На это вы возразите, что актеры оттого и становятся достойными презрения, что их презирают; но почему бы стали их презирать, если бы они не были достойны этого? Почему стали бы думать об их сословии хуже, чем о других, если бы в нем не было ничего, что бы его от них отличало? Вот что следовало бы, может быть, рассмотреть, прежде чем оправдывать их вопреки мнению публики.

Я мог бы приписать возникновение подобных предрассудков разглагольствованию священников, если б не находил их уже у римлян до появления христианства, причем они не только смутно бродили в сознании народа, но утверждались особым законодательством, которое объявляло актеров подонками, лишало их звания и прав римского гражданина и приравнивало актрис к проституткам. Тут нет иных оснований,

---

<sup>1</sup> Если англичане похоронили знаменитую Олдфилд рядом со своими королями\*, то из желания почтить в ней не ремесло, а талант. У них великие дарования возвышают представителей самых низших состояний, а бездарность принижает представителей самых славных родов. Что же касается профессии актеров, то слабые и посредственные презираемы в Лондоне так же или еще более, чем в других местах. (Прим. Руссо.)

кроме тех, что вытекают из природы вещей. Языческие жрецы, ревнители благочестия, настроенные скорее благоприятно, чем враждебно к зрелищам, входившим в состав религиозных церемоний<sup>1</sup>, отнюдь не были заинтересованы в том, чтобы против них протестовать, и в самом деле не протестовали. Между тем уже тогда можно было возмущаться, как вы это делаете, непоследовательностью, выражающейся в развенчании людей, покровительствуемых, оплачиваемых, обеспечиваемых пенсией,— что, по правде говоря, не кажется мне таким странным, как вам: ведь иногда государству приходится поощрять и опекать профессии унижительные, но нужные, отчего представители их отнюдь не становятся более почтенными.

Я где-то читал, что это бесчестие распространялось не столько на настоящих актеров, сколько на гистрионов и шутов, пятнавших свои представления непристойностью и сальностями; но это различие неуловимое: ведь слово «актер» и «гистрион» были абсолютно синонимами,— единственная разница та, что одно из них греческое, а другое этрусское. Цицерон в своем «Ораторе» называет гистрионами двух величайших актеров, каких только знал Рим — Эзопа\* и Росция; \* в своей речи в защиту последнего он жалеет, что такой порядочный человек занимается таким дурным ремеслом\*. Не проводя никакой разграничительной черты ни между комедиантами, гистрионами и шутами, ни между актерами трагическими и комическими, закон предавал одинаковому посрамлению без разбора всех, выступающих на театре. *Quisquis in scenam prodierit, ait prætor, infamis est*<sup>2</sup>. Верно лишь то, что бесчестие это покрывало не столько самую игру, сколько сословие, сделавшее ее своим ремеслом, раз римская молодежь, нимало не унижаясь, публично выступала после больших пьес в ателланах или эксодах\*. За этим исключением мы видим, что актеры повсюду одинаково были рабами\* и с ними так и обращались в тех случаях, когда игра их не нравилась.

Мне известен только один народ, державшийся на этот счет особых взглядов: это греки. У них, бесспорно, театральная профессия оценивалась так высоко, что в Греции иные актеры занимали определенные общественные должности у себя на родине или же в посольствах. Но не трудно понять причины такого исключения. Во-первых, поскольку трагедия, так же

---

<sup>1</sup> Тит Ливий говорит (VII, 2), что театральные зрелища были введены в Риме в 390 г. по случаю чумы\*, которую надо было прекратить. В настоящее время по такому случаю театры скорее закрылись бы, что, конечно, было бы разумней. (Прим. Руссо.)

<sup>2</sup> «Кто выступает на сцене, тот покрыт позором», — говорит претор (лат.).

как и комедия, была изобретена греками, они не могли заранее набросить тень презрения на профессию, чье влияние им было еще неясно; а когда оно стало выясняться, взгляд общества уже сложился. Во-вторых, поскольку трагедия имела своим источником некое религиозное начало, на актеров смотрели первое время не как на гаеров, а скорей как на жрецов. В-третьих, так как сюжеты для всех пьес брались из сокровищницы национальных древностей, для греков священной, в актерах видели не столько людей, изображающих небылицы, сколько образованных граждан, представляющих перед своими соотечественниками историю страны. В-четвертых, этот народ, доходивший в своем обожании свободы до того, что считал греков единственными людьми, свободными по природе<sup>1</sup>, очень любил вспоминать о прежних своих несчастьях и преступлениях своих властителей. Эти великие картины были для него всегда полны назидания, и он не мог не чувствовать уважения к тем, кто их осуществлял. В-пятых, так как в трагедии играли сначала одни мужчины, на театре не наблюдалось тогда того непристойного смешения мужчин и женщин, которое превращает наш театр в школу безнравственности. Наконец, в-шестых, их театральные зрелища были совершенно чужды духа расчетливости, столь свойственного современному. Они не были связаны с материальным интересом и корыстью, они не были заключены в мрачные темницы; их актерам не приходилось ни облагать зрителей данью, ни подсчитывать про себя количество входящих, с мыслью: хватит ли нынче на ужин?

Эти великолепные, грандиозные зрелища, устраиваемые под открытым небом, перед лицом всего народа\*, состояли сплошь из сражений, побед, триумфов,— событий, способных вызвать в греках пламенное стремление к первенству, усилить в сердцах их жажду подвигов и славы. В такой величественной обстановке, возвышающей и волнующей душу, актеры, воодушевленные тем же рвением, разделяли, в меру своего таланта, почести, воздаваемые победителям игр,— нередко и первым людям страны. Не приходится удивляться, что ремесло их, таким способом отправляемое, не только их не унижало, но сообщало им ту гордую отвагу и благородную самоотверженность, которые подчас как бы поднимали актера до изображаемого лица. При всем том никогда Греция, за исключением Спарты, не считалась образцом нравственности; а Спарте, не допуская у себя театра\*, было как нельзя более чуждо чувство почтения к выступающим на нем.

---

<sup>1</sup> Ифигения, в одноименной трагедии Еврипида, очень ясно говорит об этом. (Прим. Руссо.)



Вернемся к римлянам, которые в данном случае не только не последовали примеру греков, но сами дали как раз обратный пример. Если законы их объявляли актеров отверженными, имелось ли при этом в виду заклеить самую профессию? Какую пользу могло бы принести столь жестокое решение? Они не клеймили ее, они только подтверждали наличие клейма, от нее неотделимого: ибо никогда хорошие законы не ставят себе целью изменить природу вещей; они только следуют за нею,— и лишь при этом условии соблюдаются. Так что дело не в том, чтобы протестовать против предрассудков, а в том, чтобы прежде всего установить, в самом ли деле тут только предрассудок, не является ли актерская профессия действительно позорной в самом своем существовании. Потому что если она, к несчастью, такова, то напрасно будем мы утверждать противное: этим мы не реабилитируем ее, а только уроним себя.

В чем состоит талант актера? В искусстве прикидываться, подделываться под чужую натуру, казаться не тем, что ты есть, увлекаться, не теряя хладнокровия, говорить не то, что думаешь, с такой непринужденностью, будто ты думаешь это на самом деле, и в конце концов забывать свое положение, целиком войдя в чужое. В чем состоит профессия актера? Это ремесло, благодаря которому он за деньги выставляет себя напоказ, принимает обиды и оскорбления, за которые ему заранее заплатили, и публично пускает свою особу в продажу. Пусть любой человек искренне признается: разве не кажется ему в глубине души, что такая торговля собой таит в себе что-то низкое, подлое? Вы, философы, считающие себя до такой степени выше предрассудков, разве не умерли бы вы со стыда, если б вам пришлось, бесстыдно вырядившись королями, играть перед публикой совершенно чуждую вам роль, подвергая свое величество улюлюканьям черни? В сущности, каким духом наполняет актера его профессия? Смесью низости, фальши, нелепого самомнения и жалкой приниженности, смесью, делающей его пригодным к любой роли, кроме самой благородной из всех — к роли человека, от которой он отступается.

Я прекрасно знаю, что игра актера — это не игра мошенника, желающего обмануть; актер не стремится к тому, чтобы его в самом деле принимали за лицо, которое он представляет, и думали, будто он действительно обуреваем страстями, им изображаемыми; а раз он не выдает своей подделки за чистую монету, то подделка эта совершенно невинна. Но я и не говорю, что он обманщик в собственном смысле слова, а только обвиняю его в том, что он сделал своим ремеслом искусство вводить людей в заблуждение и упражняться в

таких навыках, которые, будучи невинными только на театре, служат дурным целям повсюду в других местах. Не станут ли эти люди, такие разодетые, до такой степени понаторевшие в любезных манерах и выражении сильных чувств, злоупотреблять своим искусством, совращая молодых женщин и девушек? Эти плутоватые слуги, такие ловкие на язык и на руку в театре, не найдут ли под влиянием потребностей, неудовлетворяемых разорительным и мало доходным ремеслом, полезных для себя развлечений? Не присвоят ли они себе при случае кошелек какого-нибудь расточителя-сына или скряги-отца вместо кошелька Леандра или Аргана<sup>1</sup>. Всюду соблазн дурных поступков возрастает в меру легкости их свершения; и актерам надо быть нравственней других людей, чтобы не быть развращенней, чем они.

Оратор, проповедник, тоже показывается перед публикой собственной персоной, подобно актеру, — могут мне возразить. Но тут большая разница. Оратор появляется перед слушателями для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы выставить себя напоказ: он выступает в своем собственном виде, играет не кого-то другого, а только самого себя, говорит непосредственно от своего имени, выражает или должен выражать только свои мысли; поскольку человек и действующее лицо здесь едины, он на своем месте; его положение ничем не отличается от положения любого гражданина, исполняющего свои обязанности. Но актер на сцене, разыгрывая чужие чувства, произнося лишь то, что ему указано, изображая нередко какое-нибудь фантастическое существо, растворяется и как бы исчезает в своем герое. И при таком забвении человека, если от него хоть что-нибудь остается, так только для того, чтобы быть игрушкой зрителей. Что же сказать о тех, кто, словно боясь слишком доброй славы, унижаются до изображения таких персонажей, на которых сами отнюдь не желали бы походить? Конечно, очень плохо, когда на свете столько мерзавцев играют роль порядочных людей; но что может быть противней, отвратительней, гнуснее, когда порядочный человек играет на театре роль мерзавца, употребляя весь свой талант для защиты преступных взглядов, внушающих ужас ему самому?

Если все это можно считать лишь признаками не вполне чистоплотной профессии, то нельзя не видеть еще одного

---

<sup>1</sup> Тут усматривают преувеличение и нелепость\*. И вполне основательно. Нет порока, более чуждого актерам, чем мошенничество. Их ремесло, которое поглощает их и в некотором отношении прививает им даже чувство собственного достоинства, отдаляет их от подобной мерзости. Я не устраняю этого места, так как вменил себе в закон не устранять ничего, но отрекаюсь от него во всеуслышание, как от величайшей несправедливости. (*Прим. Руссо.*)

источника дурных нравов — в распущенности актрис, вызывающей и влекущей за собой распущенность актеров. Но почему эта распущенность неизбежна? Ах, почему! В любую другую эпоху не было бы надобности задавать такой вопрос. Но в наш век гордого торжества предрассудков и заблуждений под видом философии люди, отупевшие от ненужных познаний, сделали свой ум недоступным голосу разума, а свое сердце — голосу природы.

В любом государстве, любой стране, любом общественном состоянии оба пола связаны друг с другом столь прочной и естественной связью, что нравы одного обычно целиком зависят от нравов другого. Не то чтобы нравы обоих были всегда одинаковы, но им всегда присущ один и тот же уровень порядочности, видоизмененный у каждого пола его характерными особенностями. Англичанки кротки и застенчивы. Англичане суровы и жестоки. В чем источник этого бьющего в глаза противоречия? В том, что характер каждого пола нашел тут наиболее яркое выражение, а также в том, что этой нации свойственно доводить все до крайности. За вычетом этого все остальное сходно. Оба пола предпочитают жить врозь; оба любят покушать; оба собираются вместе, чтобы пить после еды: мужчины — вино, женщины — чай. Оба играют без азарта, видя в игре не столько страсть, сколько серьезное дело; оба высоко ценят порядочность; оба любят родину и закон; оба чтут супружескую верность, если же нарушают ее, то не видят в этом никакой доблести; обоим по душе мир в доме; оба неразговорчивы и молчаливы; обоим трудно взволновать; оба неистовы в своих страстях; для обоих любовь представляет собой нечто грозное и трагическое, нечто такое, от чего зависит вся судьба человека: по словам Мюра, она может привести к потере рассудка либо самой жизни; наконец, оба любят природу, и английские дамы с таким же удовольствием бродят по своим пустынным паркам, с каким показывают себя в Воксхолле \*. С этой общей любовью к уединению связана также любовь к чтению познавательных повестей и романов, которыми Англия наводнена <sup>1</sup>. Так оба пола, живя каждый, по большей части, обособленно, перенимают друг у друга меньше вредного вздора, выше ценят подлинные жизненные радости и не столько думают о том, чтобы казаться, сколько о том, чтобы действительно быть счастливыми.

Я ссылаюсь главным образом на англичан, потому что среди всех народов мира именно у них нравы обоих полов про-

---

<sup>1</sup> Они там, как и люди, либо прекрасны, либо отвратительны. До сих пор ни на одном языке не написан еще роман, равный «Клариссе» \* или хотя бы приближающийся к ней. (Прим. Руссо.)

изводят на первый взгляд впечатление особенно различных. По взаимоотношению нравов в этой стране мы можем судить о том, что имеет место в других странах. Вся разница в том, что жизнь женщин является полным выражением их нравов, тогда как нравы мужчин не столь выявляются в их повседневных занятиях, и потому, чтобы судить о нравах мужчин, надо дожидаться момента, когда они перейдут к развлечениям. Вы хотите узнать, каковы мужчины? Изучайте женщин. Это универсальное правило, тут все согласятся со мной. Но если я к этому прибавлю, что для женщины нет добрых нравов вне уединенной домашней жизни; если скажу, что удел их — мирные заботы о семье и хозяйстве, что украшение их пола — скромность, что неотъемлемыми признаками их порядочности являются стыдливость и целомудрие, что привлекать мужские взгляды уже значит идти навстречу их развращающему влиянию и что каждая женщина, старающаяся быть на виду, позорит себя, — тотчас против меня восстанет та философия на час, что родится и умирает в каком-нибудь закоулке большого города и старается заглушить оттуда зов природы и дружный голос всего человечества.

Простонародные предрассудки! — кричат мне. — Смешные заблуждения детского возраста! Лживые бредни законов и воспитания! Стыдливость — ничто. Это выдумка общественных законов, имеющая целью защищать права отцов, мужей и поддерживать известный порядок в семьях. С какой стати краснеть нам из-за тех потребностей, которыми нас наделила природа? С какой стати стыдиться акта, столь безразличного по существу и столь полезного по своим последствиям, как тот, что обеспечивает продолжение рода? Почему, при наличии одинакового желания с обеих сторон, проявления его должны быть различными? Почему один пол должен сопротивляться больше другого влечению, общему им обоим? Почему человек должен следовать не тем же законам, что животные?

Но бог сказал: конца твоим вопросам нет... \*

Не к человеку, а к творцу его надо с ними обращаться. Не забавно ли, что приходится объяснять, почему я стыжусь естественного чувства, когда самый стыд этот столь же для меня естествен, как и оно? Это все равно что спрашивать, почему я испытываю это чувство. Разве я должен давать отчет в том, что создала природа? По этой логике мы, не зная, почему человек существует, должны были бы отрицать самый факт его существования.

Боюсь, что эти великие исследователи предначертаний бога слишком легко судят о его мотивах. Нимало не претендуя на полное знание этих мотивов, я, кажется, улавливаю среди них

такие, которых исследователи не заметили. Что ни говори, а стыдливость, заставляющая скрывать любовные наслаждения от посторонних глаз, имеет свои основания. Она представляет собой общую защиту, данную обоим полам природой для охраны их в минуты слабости и самозабвения, когда они могут стать легкой добычей первого встречного. Таким же образом она прикрывает их сон мраком ночи, чтобы это темное время суток обеспечивало их отчасти от нападений. Таким же образом заставляя она каждое большое животное искать уединения и пустынных мест, где бы можно было страдать и умереть, не подвергаясь опасностям, с которыми оно уже не в силах бороться.

Что касается женской стыдливости, то какое более кроткое оружие могла природа дать существу, предназначенному ею к самообороне? Желания равны! Что это значит? Разве у обеих сторон одни и те же возможности его удовлетворения? Какая судьба ждала бы род человеческий, если бы роли нападающего и обороняющегося переменились? Нападающий выбирал бы вселенную моменты, когда победа невозможна; объект нападения оставался бы непо потревоженным, испытывая потребность сдаться, и подвергался бы непрерывному преследованию, не имея необходимых сил для того, чтобы пасть. Наконец, поскольку вечный разлад между возможностью и влечением не оставлял бы места разделенному желанию, любовь перестала бы быть помощницей природе, а превратилась бы в ее разрушительницу и бич.

Безрезультатный напор не устранялся бы и в том случае, если бы оба пола делали одновременно первый шаг: огонь, все время тлеющий при скучном отсутствии помех, никогда не вольхал бы ярким пламенем, сладчайшее из всех чувств еле касалось бы человеческого сердца и плохо выполняло бы свое назначение. Видимое препятствие, как будто отдаляющее предмет, на самом деле приближает его. Желания, прикрытые стыдом, становятся от этого еще пленительней; целомудрие, стесняя, разжигает их; его тревоги, обиняки, оговорки, робкие признания, его трогательные и наивные уловки ясней выражают то, что оно хочет утаить, чем это сделала бы страсть без его участия. Именно оно придает цену уступкам и смягчает горечь отказа. Истинная любовь действительно обладает тем, что одна лишь стыдливость у нее оспаривает: эта смесь слабости и скромности делает любовь трогательней и нежнее; чем меньше она получает, тем выше ценит получаемое, так что и огорчения и восторги ей в радость.

Говорят: почему женщины должны стыдиться того, чего не стыдятся мужчины? Почему один пол будет вменять себе в вину то, что другой считает для себя позволительным? Как

будто последствия для обеих сторон одинаковы! Как будто все суровые ограничения, обязательные для женщин, не вытекают из того факта, что ребенок должен иметь отца! Даже не будь у нас этих важных соображений, мы всегда давали бы один и тот же ответ, и он всегда оставался бы неопровержимым: так решила природа, и заглушать ее голос — преступление. Мужчине пристала смелость, в этом — его назначение: <sup>1</sup> надо, чтоб кто-то делал первый шаг. Но женщина, лишенная стыда, преступна и развратна, так как попирает природное свойство ее пола.

Как можно оспаривать существование этого чувства? Если бы весь мир не подтверждал его с ослепительной наглядностью, одного сравнения полов было бы довольно, чтобы его установить. Разве не природа украшает юных девушек этой милой внешностью, еще более трогательной благодаря легкому налету стыда? Не она ли придает их взгляду застенчивость и нежность, перед которыми так трудно устоять? Не она ли наделяет их свежим цветом лица и тонкостью кожи, чтоб был заметней румянец стыдливости? Не она ли создает их пугливыми, чтобы они убежали, и слабыми, чтоб они сдавались? Для чего было одарить их более сострадательным сердцем, менее быстрым бегом, менее сильным телом, менее высоким

---

<sup>1</sup> Не надо смешивать эту смелость с наглостью и грубостью: нет ничего более несходного и по своему источнику, и по результату. Я имею в виду любовь чистую и свободную, подчиненную только своим собственным законам; ей одной принадлежит власть над ее тайнами и право соединять в союзы людей и сердца. Если мужчина надругался над стыдливостью женщины и подверг насилию юное существо, ничего к нему не чувствующее, — грубость его чужда страсти: она оскорбительна и говорит о душе безнравственной, лишенной тонкости, неспособной ни к любви, ни к порядочности. Высшая ценность наслаждения — в том сердце, которое их дарит: настоящему влюбленному самое обладание любимым существом доставит лишь боль, гнев и отчаяние, если он будет думать, что любовь его не встречает ответа.

Стремиться удовлетворить свои желания без согласия той, которая их вызвала, это смелость сатира. А смелость мужчины состоит в том, чтобы уметь выразить их, не отталкивая, сделать их привлекательными, добиться отклика, подчинить себе чувство женщины, прежде чем покуситься на нее. Недостаточно быть любимым; разделенное желание еще не дает права на удовлетворение: требуется также согласие воли. Напрасно будет сердце соглашаться на то, чему воля противится. Человек порядочный и настоящий влюбленный отказывает себе в этом, даже имея возможность. Исторгнуть молчаливое согласие — единственное насилие, дозволенное любви. Прочсть это согласие в глазах, уловить его в манере обращения вопреки отказу, слетающему с уст, — вот искусство, доступное тому, кто умеет любить; достигая таким образом цели своих стремлений, он не груб, он остается порядочным: он не оскорбляет стыдливость, он уважает ее, угождает ей; он представляет ей почетную возможность немного продлить борьбу за то, что она, быть может, уже готова уступить. (Прим. Руссо.)

ростом, более хрупким сложением, если б она не предназначала их для роли побеждаемых? Разве им требуется меньше сил оттого, что они несут дополнительный труд, подвергаясь недомоганиям беременности и мучениям родов? Но приспособить их к этому тягостному положению можно было, только сделав их достаточно сильными, чтобы терпеть поражение лишь по собственной воле, и достаточно слабыми, чтобы у них всегда был предлог для желания сдаться. Вот в точности то место, на которое их поставила природа.

Перейдем от общих рассуждений к опыту. Если бы стыдливость была предрассудком, который навязывают общество и воспитание, чувство это было бы сильнее там, где воспитание дается более тщательное и где происходит непрерывное совершенствование законов общества; а чем ближе к первобытному состоянию, тем оно было бы слабей. На самом деле как раз наоборот<sup>1</sup>. У нас в горах женщины застенчивы и скромны; они краснеют от одного слова, не смеют подымать глаза на мужчин и в их присутствии хранят молчание. В больших городах стыдливость считается чем-то недостойным, унижительным; это единственно, чего благовоспитанная женщина способна стыдиться; а почетное право вгонять порядочного человека в краску принадлежит лишь женщинам высшего круга.

Ссылка на пример животных неубедительна и неправильна\*. Человек — не собака и не волк. Как только внутри его вида возникнут первые признаки общественных отношений, чувства его приобретают нравственное содержание, совершенно незнакомое животным. Животные обладают сердцем и влечениями; во священная идея должного и прекрасного живет только в сердце человека.

Несмотря на это, откуда взялось утверждение, будто инстинкт никогда не оказывает на животных действия, подобного действию стыда у людей? Я вижу каждый день доказательства противного. Вижу, что они скрывают иные свои потребности, чтобы не вызвать отвращения; вижу далее, что, прежде чем бежать дальше, они поспешно засыпают следы землей. Чего не хватает этим стараниям, чтоб мы признали их мерами благопристойности и порядочности, как не того только, что они предпринимаются не людьми? В их любовных отношениях я замечаю капризы, предпочтения, взаимные отталкивания, сильно смахивающие на приемы возбуждения страсти при помощи препятствий. В тот самый момент, когда я пишу эти

---

<sup>1</sup> Жду возражения: дикарки лишены чувства стыда; они ходят голые. Отвечают на это, что у наших женщин его еще меньше, так как они одеваются. Смотри конец этого письма, где речь идет о девушках Лакедемонии. (Прим. Руссо.)

строки, у меня перед глазами подходящий пример. Пара голубков в разгаре первой любви вовсе не обнаруживают тупой грубости, какую приписывают этим птицам наши лжемудрецы. Белоснежная голубка следует по пятам за своим возлюбленным, но бросается наутек, как только он повернет назад. А если он ничего не предпринимает? Легкие поклевывания вызывают его к действию; если он отступает, его преследуют; если защищается, легкое перепархивание шагов на шесть привлекает его вновь. Невинность природы пускает в ход дразнящие уловки и слабое сопротивление — с искусством, которому, пожалуй, позавидует самая опытная кокетка. Нет, резвая Галатея действовала не более удачно, а Вергилий мог бы найти на голубятне одну из самых прелестных своих картин \*.

Даже если отрицать наличие особой природной стыдливости у женщин, можно ли не признать, что уделом их в обществе должна быть жизнь домашняя, уединенная и что их надлежит воспитывать в соответствующих правилах? Если застенчивость, стыдливость, скромность, им свойственные, являются изобретениями общества, значит, обществу нужно, чтобы женщины приобретали эти особенности; нужно развивать в них эти особенности, и женщина, ими пренебрегающая, оскорбляет добрые нравы. Что может быть на свете трогательней и достойней уважения, чем мать семейства, окруженная своими детьми, руководящая работой прислуги, обеспечивающая мужу счастливую жизнь и мудро управляющая всем домом? Именно тут она видна во всем своем достоинстве порядочной женщины; тут она действительно внушает уважение, и красота заслуженно получает часть почестей, воздаваемых добродетели. Дом без хозяйки — это тело без души, быстро распадающееся; а женщина вне дома утрачивает весь свой блеск и, лишенная подлинных своих украшений, показывается в непристойном виде. Если у нее есть муж, чего ей нужно от других мужчин? Если мужа нет, как же рискует она своим нескромным поведением отталкивать того, кто захотел бы им стать? Что бы она ни делала, чувствуется, что в обществе она не на своем месте, и сама красота ее, которая нравится, не привлекая, — только лишний изъян, за который сердце упрекает ее. Каким бы источником это впечатление ни питалось — природой или воспитанием, оно — общее у всех народов мира; повсюду женщины уважают в меру их скромности; повсюду убеждены, что, пренебрегая свойственным им поведением, они пренебрегают и своими обязанностями; всюду видят, что в этих случаях, превращая характерную для мужчин сильную и уверенную твердость в бесстыдство, они этим отвратительным подражанием роняют себя и позорят заодно и свой собственный пол, и наш.



Я знаю, что в некоторых странах господствуют совсем иные порядки. Но посмотрите, какие нравы порождены ими! Мне не нужно других примеров для подкрепления моих взглядов. Применим к нравственности женщин то, что я говорил выше относительно воздаваемого им почета. У всех культурных народов древности они жили взаперти; в обществе показывались редко, а в мужском не показывались вовсе и не ходили гулять с мужчинами; они не занимали лучших мест в театре и не выставлялись там напоказ; <sup>1</sup> им не разрешалось даже присутствовать на всех представлениях, и известно, что появление женщины на Олимпийских играх каралось смертью.

В доме у них было отдельное помещение, куда доступ мужчинам был закрыт. Если муж давал званый обед, жена редко появлялась за столом; благопристойность требовала, чтобы она уходила, не дожидаясь конца, а остальные женщины вовсе не показывались с самого начала. Никаких встреч обоих полов не полагалось; весь день они пребывали врозь. Эта мера, устранявшая возможность пресыщения друг другом, приводила к тому, что они встречались с большим удовольствием; бесспорно то, что домашний мир в общем поддерживался лучше и между супругами царило большее согласие <sup>2</sup>, чем теперь.

Таковы были обычаи у персов, греков, римлян и даже египтян, вопреки злым шуткам Геродота \*, которые сами себя опровергают. Если женщинам и случалось выйти из границ скромности, общественный протест говорил о том, что это исключение. Чего только не было сказано по поводу свободы женщин в Спарте! На основании «Лизистраты» \* можно судить о том, каким непристойным считали греки бесстыдство афинянок. А в Риме, уже развращенном, какой скандал вызвало появление римских дам перед триумвирами! \*

Все изменилось. С тех пор как толпы варваров наводнили Европу, волоча женщин за своими армиями, лагерная распущенность в сочетании с холодным климатом северных стран, делающим ограничения не столь необходимыми, привели к распространению иного образа жизни, который встретил поддержку со стороны рыцарских романов, где прекрасные дамы проводят дни в заботах о том, чтоб их с самыми благородными намерениями похитил мужчина. Так как эти книги были

---

<sup>1</sup> В афинском театре женщины занимали высокую галерею, носившую название «Керкис», не представлявшую удобств ни для того, чтобы самим смотреть на сцену, ни для того, чтобы на них смотрели из публики. Но случай с Валерией и Суллой как будто говорит о том, что в римском цирке они сидели среди мужчин \*. (Прим. Руссо.)

<sup>2</sup> Можно было бы объяснить это легкостью развода; но греки редко прибегали к нему, а Рим просуществовал пятьсот лет, прежде чем там стали пользоваться законом, разрешающим развод. (Прим. Руссо.)

школой галантности того времени, внушаемые ими идеи свободы распространялись в особенности при дворах монархов и в больших городах, где учтивость больше ценится. Учтивость эта в своем развитии должна была выродиться в грубость. Таким путем свойственная женщинам скромность мало-помалу исчезла, и знатым дамам передались нравы маркитанток.

Но хотите ли знать, до чего эти обычаи, противные природе, оскорбительны для тех, кто к ним не привык? Об этом можно судить по тому удивлению и смущению, которые испытывают иностранцы и провинциалы при виде этих новых для них манер. Смущение это лестно характеризует нравы женщин в их краях, и надо думать, что его виновницы меньше кичились бы им, если б лучше знали его источник: он отнюдь не в избытке уважения, а скорее в том, что они заставляют краснеть за них и что стыдливость, изгнанная женщиной из ее речей и манер, нашла убежище в сердце мужчины.

Возвращаясь к нашим актрисам, я спрашиваю, каким образом профессия, единственное назначение которой состоит в том, чтобы показываться перед публикой и — что еще хуже — показываться за деньги, может подойти порядочной женщине, уживаясь в ней со скромностью и добрыми нравами? Есть ли даже надобность рассуждать о моральных различиях между полами, чтобы понять, как трудно той, что фигурирует за плату на сцене, не выступить немного погодя в такой же роли и в жизни, невольно поддавшись соблазну уступить желаниям, которые она так старалась возбудить? Как? Несмотря на тысячу боязливых предосторожностей, женщине порядочной и благоразумной, подвергающейся меньшей опасности, нелегко бывает сдержать свое сердце в минуту испытания, — а эти самонадеянные молодые особы в нескромных уборах, ничего не знающие, кроме целой системы кокетства да своих любовных ролей<sup>1</sup>, все время окруженные пылкой и дерзкой молодежью, слыша вокруг нежные призывы к любви и наслаждению, вдруг окажут сопротивление своим летам, своему сердцу, окружающей их обстановке, уговорам, которые они слышат отовсюду, поминутно возникающим благоприятным обстоятельствам и золоту, которое их уже наполовину купило? Нужно считать нас наивными детьми, чтобы думать, что мы этому поверим. Сколько бы порок ни прятался в потемках, на лбу виновного видна его печать: дерзость женщины — верный признак ее позора; она не краснеет именно потому, что ей есть за что краснеть; и если иной раз стыдливость переживает

---

<sup>1</sup> Что из этого может получиться при наличии красоты, которой от них вполне естественно требовать? См. «Беседы о побочном сыне»\*. (Прим. Руссо.)

моральную чистоту, то что же думать о моральной чистоте, когда даже стыдливость исчезла?

Предположим, если угодно, что возможны исключения; предположим, что

Их можно было бы тут целых три назвать\*.

Согласен поверить на этот раз в то, чего никогда не видал и о чем не слышал. Можем ли мы пазвать честным такое ремесло, которое заставляет смотреть на порядочную женщину как на чудо и презирать тех, которые им занимаются, если только мы не признаем возможным постоянное действие какого-то сверхъестественного начала. Нескромность до такой степени неотделима от положения актрис, и они так хорошо понимают это сами, что между ними нет ни одной, которая не считала бы просто нелепым делать хотя бы вид, будто она от себя произносит те благоразумные и пристойные речи, с которыми выступает перед публикой. Боясь, как бы эти строгие правила своим успехом не повредили ее интересам, актриса первая всегда готова пародировать свою роль, уничтожая плоды собственного труда. Выйдя за кулисы, она тотчас отбрасывает и театральную мораль, и свой неприступный вид, и если мы получаем уроки добродетели, глядя на сцену, то быстро забываем их за кулисами.

После всего сказанного нет, кажется, надобности объяснять, что распущенность актрис влечет за собой распущенность актеров, тем более что самое ремесло вынуждает их общаться между собой в высшей степени непринужденно. Нет надобности доказывать, что унижительность общественного положения порождает низменные взгляды на жизнь, и пороки разделяют тех, кого должны были бы объединять общие интересы. Не буду распространяться насчет тысячи поводов к разногласиям и ссорам, поминутно вспыхивающим главным образом среди актрис из-за распределения ролей, дележа выручки, выбора пьес, ревности к успеху у публики, — не говоря уже о всяких любовных интригах. Еще более излишне перечислять здесь естественные последствия неизбежного у этих людей сочетания роскоши и нищеты. Я уже говорил об этом более чем достаточно — для вас и для людей разумных; но сколько об этом ни говори, всегда будет недостаточно для людей предубежденных, желающих видеть не то, на что указывает им разум, а только то, что соответствует их страстям или предрасудкам.

Если все это связано с профессией актера, что должны мы сделать, сударь, чтобы предупредить ее неминуемые последствия? Со своей стороны я не вижу иного средства, как устранить самую причину. Когда болезни, постигающие человека,

порождаются его природой или образом жизни, которого он не в состоянии изменить, могут ли врачи предотвратить их? Запретить актеру быть порочным — это все равно что запретить человеку болеть.

Следует ли отсюда, что все актеры достойны презрения? Отсюда, напротив, следует, что актер, отличающийся скромностью, порядочностью, добрыми нравами, как вы очень правильно сказали, вдвойне заслуживает уважения, поскольку он всем этим доказывает, что любовь к добродетели берет в нем верх над человеческими страстями и влиянием профессии. Единственно, в чем его можно упрекнуть, это в том, что он ее выбрал; но очень часто ошибка молодости предрешает направление всей жизни; а чувствуя в себе настоящий талант, кто в силах противостоять его зову? Великие актеры несут в себе свое оправдание; только плохих надо презирать.

Если я так долго держался в области общих рассуждений, то отнюдь не потому, чтобы не мог применить их в еще большей степени как раз к городу Женеве. Но нежелание выводить своих сограждан на сцену заставляло меня возможно позже завести речь о них. Однако пора перейти к тому, что составляет нашу цель, и я слишком плохо выполнил бы свою задачу, не показав применительно к нашим местным условиям, к чему привело бы учреждение театра в нашем городе, если бы ваше мнение и ваши доводы побудили правительство пойти на это. Ограничусь наиболее очевидными последствиями, которые неоспоримы для всякого, хоть немного знакомого с нашим общественным устройством.

Правда, Женева богата; но хотя там нет этих огромных состояний, которые истощают целую страну, чтоб обогатить некоторых ее жителей, и сеют нищету вокруг избытка, не может быть сомнения, что если некоторые женеvцы обладают крупными средствами, то есть и такие, которые живут в довольно суровой нужде, а довольство большинства имеет основой скорей упорный труд, бережливость и умеренность, чем богатство в собственном смысле слова. Есть немало городов бедней, чем наш, где горожанин может, однако, не ограничивать себя в удовольствиях, поскольку почва, его питающая, не скудеет и поскольку время для него не имеет никакой цены, так что он может тратить его без всякого ущерба. Не то у нас, не имеющих земли, которая бы нас кормила, и всем обремененных нашим промыслом. Население Женевы живет только своим трудом, имея необходимое лишь в той мере, в какой оно отказывает себе в излишнем: вот одна из причин наших законов против роскоши. По-моему, что должно прежде всего поражать иностранца при въезде в Женеву, — это царящие там оживление и деятельность. Все заняты, все в движении, все

спешат на работу и по своим делам. Не думаю, чтобы какой-нибудь другой такой же маленький город в мире представлял бы подобное зрелище. Сходите в квартал Сен-Жерве: кажется, там собрались часовщики со всей Европы. Пройдите по Молару и нижним улицам: целый аппарат торговли, поставленной на широкую ногу, беспорядочно наваленные груды тюков и бочек, запах индийских пряностей и москательных товаров создают у вас впечатление морского порта. В Паки, в Овив шум и вид ситценабивных и полотняных фабрик словно переносят вас в Цюрих. Город как бы разрастается во все стороны благодаря совершающимся в нем работам, и я видел людей, определявших его население по первому взгляду в сто тысяч душ. Руки, умение дорожить своим временем, неустанное усердие, суровая бережливость — вот сокровища женева, наше достояние, с каким ждем мы забаву праздных: отняв у нас сразу и время и деньги, она фактически удвоит наши убытки.

В Женеве не наберется двадцати четырех тысяч душ, вы признаете это. Я вижу, что Лион, относительно гораздо более богатый и имеющий по крайней мере в пять-шесть раз больше населения, действительно содержит театр и что в тех случаях, когда этот театр — оперный, у города не хватает на него средств. Вижу, что Париж, столица Франции и средоточие богатств этого огромного королевства, имеет три постоянных театра в довольно убогом состоянии, а четвертый — лишь в отдельные сезоны\*. Допустим, что и этот четвертый<sup>1</sup> — тоже постоянный. Я вижу, что в этом центре богатства и праздности из шестисот тысяч населения еле набирается ежедневно тысяча — тысяча двести зрителей. В королевстве я вижу крупные морские порты — Бордо, Руан; вижу большие военные города — Лилль, Страсбург, полные праздных офицеров, живущих в ожидании полудня и восьми часов вечера. В каждом из этих городов тоже есть театр; но даже там его существование поддерживается принудительными сборами. А сколько других городов, несравненно более крупных, чем наш, сколько таких, которые, будучи местом пребывания парламента и двора, не в состоянии содержать постоянного театра комедии?

Для того чтобы решить, в силах ли мы взять на себя такую задачу, возьмем для сравнения что-нибудь широко изве-

---

<sup>1</sup> Если я не считаю Концертов духовной музыки, то потому, что они представляют собой отнюдь не особое зрелищное предприятие, а лишь добавление к ним. Не считаю я также по отдельности маленьких театров ярмарки; но зато предполагаю ее действующей круглый год, тогда как она действует лишь полгода. Сопоставляя Женеву с Парижем, с точки зрения возможности существования труппы, я всякий раз беру соотношения более благоприятные для положительного ответа, чем это позволяют общеизвестные факты. (Прим. Руссо.)

стное, — например, такой город, как Париж. Я утверждаю, что если шестьсот с лишним тысяч жителей дают ежедневно всего-навсего тысячу двести зрителей для парижских театров, то менее восьми — десяти тысяч человек, составляющих население Женевы, дадут, конечно, не более сорока восьми зрителей. Да нужно еще вычесть отсюда бесплатных и предположить, будто в Женеве относительно больше незанятых людей, чем в Париже, — что я считаю невероятным.

Но если французские актеры, субсидируемые королем и будучи владельцами театрального здания, с трудом поддерживают свое существование в Париже, собирая в среднем триста зрителей на каждое представление<sup>1</sup>, то спрашивается, каким образом актеры Женевы смогут существовать, имея в качестве единственного источника дохода сорок восемь человек зрителей? Вы скажете, что в Женеве жизнь дешевле, чем в Париже. Верно, но ведь и билеты в театр будут соответственно дешевле; кроме того, в бюджете актера стол не играет почти никакой роли. Одежда, наряды — вот что им обходится дорого; надо будет все это выписывать из Парижа, либо обучать немелких ремесленников. Где на все эти вещи спрос, там и изготовление их дешевле. Вы скажете, что на актеров распространят действие законов о роскоши. Но тщетны будут попытки произвести подобную реформу в театре: никогда Клеопатра и Ксеркс не примут нашей простоты\*. Ведь обязанность актеров состоит в выступлениях перед публикой, мешать им тут — значит, отбивать у них охоту к ремеслу, и я сомневаюсь, чтобы хороший актер когда-нибудь согласился стать квакером\*. Наконец мне могут возразить, что женевской труппе, не столь многочисленной, как парижская, потребуется гораздо меньше средств. Согласен; но будет ли разница пропорциональна сорока восьми к тремстам? Прибавьте к этому, что более многочисленная труппа имеет возможность чаще давать представления, тогда как в маленькой, не имеющей дублеров, не могут же все играть каждый день; болезнь, отсутствие одного только из актеров срывает целое представление — и прощай сбор!

Женевцы чрезвычайно любят природу: об этом говорит количество дач, разбросанных вокруг города. Радости охоты и красота окрестностей поддерживают эту здоровую склонность. Так как городские ворота запираются на ночь, отнимая воз-

---

<sup>1</sup> Люди, посещающие театр лишь в удачные дни, когда зрителей много, найдут этот подсчет преуменьшенным; но те, кто, подобно мне, ходили в театр регулярно, десять лет подряд, в хорошие и плохие дни, наверняка найдут его преувеличенным. Так что если для парижских зрителей надо уменьшить среднее число в триста человек, то для Женевы надо уменьшить соответственно число сорок восемь, чем мои возражения подкрепляются. (*Прим. Руссо.*)

можность свободных вечерних прогулок на лоне природы, а дачи — рукой подать, то лишь немногие из зажиточных почувуют летом в городе. Каждый, закончив свой деловой день, уезжает вечером, перед самым закрытием ворот, в свой загородный уголок — подышать чистым воздухом и полюбоваться самым очаровательным пейзажем во всей поднебесной. Много даже таких граждан и горожан, которые живут там круглый год, совсем не имея обители в Женеве. Все это, так сказать, — чистая потеря для театра, и в летний период его некому будет поддерживать, так как в городе остаются почти исключительно люди, которые в театр никогда не ходят. В Париже — совсем другое дело: там умеют сочетать театр с дачной жизнью; летом в час окончания спектаклей из городских ворот валом валят кареты. Что же касается ночующих в городе, то их не столько прельщает возможность свободно покинуть его в любое время суток, сколько отпугивают неудобства, с ней связанные. Общие места прогулок так надоедают, ехать за город так далеко, воздух так полон зловоний, а виды так непривлекательны, что лучше укрыться в зрительном зале. Вот еще одно различие, невыгодное нашим актерам, в результате которого целые полгода оказались бы для них потерянными.

Неужели вы полагаете, сударь, что им будет легко заполнить подобную брешь за счет остального? Я, со своей стороны, не вижу иного способа изменить это положение, как только перенести час закрытия ворот, пожертвовав нашей безопасностью ради наших удовольствий и оставляя открытою на ночь крепость<sup>1</sup>, находящуюся среди трех держав\*, самой удаленной из которых достаточно преодолеть всего каких-нибудь пол-лье, чтобы достичь нашего наружного вала.

Это не все: невозможно, чтобы учреждение, столь противное нашим исконным началам, встретило бы сплошь радушный прием. Сколько благородных граждан будут смотреть с негодованием на этот оплот роскоши и изнеженности, воздвигшийся на развалинах нашей исконной простоты, угрожая издали общественной свободе? Неужели вы думаете, что они утвердят это новшество, почтив его своим посещением, после того как во всеуслышание осудили его? Будьте уверены, что

---

<sup>1</sup> Я знаю, что все наши огромные фортификации — самая ненужная вещь на свете и что, если б у нас было достаточно войска для их защиты, это тоже было бы совершенно ненужно, так как, конечно, никто не явится осаждать нас. Но, хотя у нас нет поводов опасаться осады, мы тем не менее должны быть готовы к любой неожиданности: нет ничего легче, как сосредоточить поблизости от нас военную силу. Мы слишком хорошо научены, какое ей можно дать употребление\*, и обязаны помнить, что тот, кто не прав, стоя под стенами крепости, оказывается правым, ворвавшись в нее. (*Прим. Руссо.*)

многие из тех, что посещают театр в Париже, не заглянут туда в Женеве, так как благо родины им дороже развлечений. Где та безрассудная мать, которая решится повести свою дочь в эту опасную школу, и сколько женщин, пользующихся уважением, сочли бы себя опозоренными, если бы пошли туда сами. Если в Париже иные воздерживаются от посещения театров, то только из соображений религиозных, которые и у нас будут играть, конечно, не меньшую роль; но у нас к религии присоединятся нравственность, добродетель, патриотизм: они будут удерживать от посещения театра тех, кого не удержит религия<sup>1</sup>.

Я показал, что существование в Женеве театра за счет одних только зрителей — дело совершенно невозможное. Значит, потребуется одна из двух: либо богатым объединиться для его поддержки, — обязанность тяжелая, которую они, конечно, не захотят нести долго; либо государству вмешаться в это дело и взять издержки на себя. Но каким образом может оно это осуществить? Выкраивая на театр средства за счет необходимых расходов, еле покрываемых скромными поступлениями? Или же оно направит на эту важную статью те суммы, которые бережливость и честность администрации позволяют иногда отчислять в запас — на самые неотложные нужды?

Не придется ли распустить наш маленький гарнизон и взять самим на себя охрану ворот? Может быть, урезать и без того низкое вознаграждение наших должностных лиц или же лишиться всяких средств на непредвиденные расходы? За невозможностью всего перечисленного я вижу только один практический выход: это — путь податей и налогов, это — созыв наших граждан и горожан на заседание Общего совета в храме святого Петра, где перед ними был бы серьезно поставлен вопрос о введении специального обложения для устройства театра. Бог видит, насколько далека от меня мысль о том, чтобы наши достойные и мудрые правители были способны вносить подобные предложения, и по вашей собственной статье можно вполне представить себе, как оно было бы встречено.

Если бы мы, на свою голову, нашли какой-нибудь способ устранить все эти препятствия, получилось бы только хуже для нас: ведь это могло бы произойти только при содействии

---

<sup>1</sup> Не хочу этим сказать, что можно быть добродетельным, не имея религии; я слишком долго держался этого ошибочного взгляда, но уже отрешился от него. Здесь я имею в виду, что верующий может воздерживаться порой, из соображений чисто социальных, от некоторых действий, которые безразличны сами по себе и не затрагивают совесть непосредственно, каково, в частности, посещение театральных зрелищ в таком месте, где их не следует допускать. (Прим. Руссо.)



какого-нибудь тайного порока, который, еще более ослабляя нас в нашей малости, рано или поздно окончательно бы нас погубил. Предположим все же, что великая любовь к театру позволила нам совершить это чудо; предположим, что актеры прочно обосновались в Женеве, что поведение их вполне укладывается в рамки закона, что театр усиленно посещается и процветает; предположим, наконец, что город наш в состоянии, как вы пишете, сочетать театр и добрые нравы, соединив преимущество первого с преимуществом вторых; хотя, по моему, эти два преимущества друг с другом несовместимы, поскольку театр, имея задачей заменять добрые нравы, если они отсутствуют, совершенно не нужен там, где они налицо.

Первым очевидным результатом такого положения будет, как я уже говорил, полный переворот в наших обычаях, за которым с необходимостью последует такой же переворот в наших нравах. Благотворен он будет или вреден? Вот что надлежит теперь рассмотреть.

Нет такого благоустроенного государства, где бы не существовало обычаев, неотделимых от формы правления и помогающих ее сохранить. Таким, например, был в Лондоне обычай котерий, столь неосновательно осмеянных авторами «Зрителя»: \* на смену этим ставшим смешными котериям пришли кофейни и притоны. Сомневаюсь, чтоб английский народ особенно выиграл от этой перемены. Подобные же котерии существуют теперь в Женеве под названием «кружков», и я имею основание полагать, сударь, судя по вашей статье, что вы отнеслись не без уважения к тому сдержанному и разумному образу мыслей, который они там распространяют. Этот обычай у нас — старинный, хотя название и новое. Котерии существовали еще, когда я был ребенком, — под названием «обществ», но устройство их было менее удачно и правильно. Состязание в стрельбе, объединяющее нас каждую весну, всевозможные призы, разыгрываемые в определенное время года, военные празднества, с ними связанные, любовь к охоте, свойственная всем женеvцам, заставляли людей часто собираться, давали им повод образовывать застольные компании, устраивать совместные поездки за город, и на этой почве завязывались и дружеские связи; но так как все эти сборища имели единственной целью удовольствие и веселье, они происходили только в кабаках. Наши общественные разногласия \*, требуя по ходу дел более частых встреч и хладнокровного обсуждения, превратили наши шумные общества в более благопристойные объединения. Эти объединения получили название кружков, и весьма скудная почва дала очень хорошие плоды <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> На отрицательных сторонах я остановлюсь ниже. (*Прим. Руссо.*)

Кружки эти представляют собой содружества в количестве двенадцати — пятнадцати человек, которые, сняв удобное помещение, в складчину обставляют его и снабжают необходимым запасом провизии. В этом помещении ежедневно после полудня собираются все члены кружка, которых дела или удовольствия не отвлекли в другое место. Собравшиеся, непринужденно занявшись каждый тем, что ему больше по вкусу, играют, беседуют, читают, поют, курят. Иногда там и ужинают, но это редко, так как женеvцы — народ степенный, семейственный. Часто устраивают также совместные прогулки, развлекаясь упражнениями, укрепляющими тело. В свою очередь женщины и девушки тоже собираются обществами то у одной, то у другой. Цель этих собраний — коммерческая игра по маленькой, угощение и, само собой понятно, бесконечная болтовня. Мужчинам доступ в эти общества закрыт не особенно строго, но они бывают там довольно редко, а о тех, которые бывают постоянно, я стал бы думать еще хуже, чем о тех, которые не бывают вовсе.

Таковы обычные развлечения женеvских горожан. Не лишние приятности и веселья, развлечения эти отличаются известной простотой и невинностью, приличными республиканским нравам. Но как только появится театр, прощай кружки, прощай общества! Вот переворот, который я предсказывал: все это неизбежно рушится. А если вы в виде возражения сошлетесь на приведенный мною самим пример Лондона, где театральные зрелища не помешали существованию котерий, я отвечу, что тут, по сравнению с нами, большая разница: дело в том, что театр, являющийся в этом огромном городе всего-навсего маленькой точкой, у нас окажется важным учреждением, которое поглотит все.

Если, далее, вы спросите меня, какая беда в упразднении кружков... Нет, сударь, такого вопроса нельзя ждать от философа. Это рассуждение женщины или зеленого юнца, которые назовут наши кружки казармой и скажут, что там пахнет табаком. Но надо все же ответить: ведь в данном случае, обращаясь к вам, я пишу для народа, и это, конечно, даст себя чувствовать. Но вы меня к этому принудили.

Скажу прежде всего, что если запах табака — вещь неприятная, то зато очень хорошая вещь — оставаться хозяином своего добра и быть уверенным, что имеешь свой собственный кров над головой. Но я уже забыл, что пишу не для одних д'Аламберов. Придется заговорить иначе.

Прислушаемся к внушениям природы, поразмыслим о благе общества: мы убедимся, что оба пола должны встречаться время от времени, но жить, как правило, врозь. Я только что утверждал это, говоря о женщинах, а теперь повторяю приме-

нительно к мужчинам. Им слишком тесное общение с женщинами приносит еще больше вреда, чем последним с мужчинами; женщины от этого становятся распущенными, а мы — и распущенными и слабохарактерными: ведь слабый пол, не способный к нашему образу жизни, слишком для него трудному, навязывает нам свой, слишком для нас изнеженный; и, не желая мириться с отдельным существованием, но не имея в то же время возможности самим стать мужчинами, женщины превращают нас в женщин.

Эта опасность внутреннего измельчания мужчин всюду очень сильна; но особенно важно не допускать ее в таких государствах, как наше. Монарху довольно безразлично, кем управлять: мужчинами или женщинами, лишь бы повиновались. Но Республике нужны мужчины<sup>1</sup>.

Древние проводили почти всю жизнь на воздухе, занимаясь своими делами, обсуждая дела государственные на площади народных собраний, гуляя по полям, садам, у моря, под дождем, по жаре и почти всегда с непокрытой головою<sup>2</sup>. И ко всему этому — отсутствие женщин; но их умели находить при надобности, и мы видим по сочинениям древних и образчикам дошедших до нас бесед, что ни ум, ни вкус, ни даже сама любовь ничего не теряли от этого отдаления. А мы, мы держимся совсем других правил: рабски подчиняясь желаниям пола, которому нам следовало бы быть защитниками, а не слугами, мы научились, покорствуя ему, презирать его, оскорбляя своей насмешливой угодливостью; любая женщина Парижа собирает у себя в салоне целый сераль мужчин, более женственных, чем она сама, и умеющих оказывать всяческое поклонение красоте, кроме сердечного, которого она достойна. Но посмотрите на этих мужчин, вечно заключенных в добровольную тюрьму: встают, садятся, расхаживают взад и вперед, то подойдут к камину, то к окну, сто раз возьмут в руки экран и поставят его

---

<sup>1</sup> Мне возразят, что короли нуждаются в них для войны. Вовсе нет. Вместо тридцати тысяч мужчин им достаточно призвать под ружье, скажем, сто тысяч женщин. Женщины не лишены мужества: они ценят честь дороже жизни. И в сражении ведут себя стойко. Недостатком их пола является неспособность переносить тяготы войны и суровость стихий. Это диктует необходимость мобилизовать их втрое больше против того, сколько нужно для боя, принося лишние две трети в жертву болезни и смертности. [Кто бы подумал, что эту шутку\*, содержащую довольно прозрачный намек, во Франции умные люди приняли всерьез?] (Прим. Руссо.)

<sup>2</sup> После сражения, в котором Камбиз\* одержал победу над Псамметихом\*, убитых египтян, никогда не покрывавших голову, узнавали по исключительной твердости черепа, тогда как у персов, всегда носивших свои огромные тиары, черепа были такие хрупкие, что их ничего не стоило разбить. Много времени спустя Геродот имел возможность лично убедиться в этой разнице\*. (Прим. Руссо.)

на место, перелистывают книгу, рассматривают картины, кружат, порхают по комнате, между тем как кумир, неподвижно покоясь в шезлонге, двигает только языком да глазами. Чем вызвана эта разница, как не тем, что природа, навязывая женщинам замкнутый образ жизни домоседки, предписывает мужчинам нечто совершенно противоположное, и такая непоседливость их вызвана подлинной потребностью? Если жители Востока, которых жара заставляет и без того достаточно потеть, малоподвижны и совсем не гуляют, то они хоть сидят под открытым небом и дышат полной грудью; а здешние женщины заботятся о том, чтобы их друзья задохнулись в уютных, плотно закрытых комнатах.

Если сравнить силу, которой обладали мужчины в древности, с той, которой они обладают теперь, то окажется, что расстояние такое же, как от неба до земли. Наши академические упражнения — детская игра рядом с древней гимнастикой: от лапты отказались, как от слишком утомительной; разучились путешествовать верхом. Я не говорю о войсках. Трудно представить себе условия, в которых протекали походы греческих и римских армий: марши, изнурительный труд, тяжелое снаряжение римских воинов, даже когда о них только читаешь, вызывают чувство усталости и подавляют воображение. Офицерам пехоты не разрешалось ехать на лошади. Нередко генералы совершали переходы пешком вместе с солдатами. Оба Катона \* никогда не передвигались иначе — ни одни, ни вместе с армиями. Сам Оттон, изнеженный Оттон \* шагал с мечом в руке во главе своей армии навстречу Вителлию. Пусть в наше время укажут хоть одного военного, способного на нечто подобное. Мы переживаем упадок во всем. Наши живописцы и скульпторы жалуются на невозможность найти натуру, подобную древним. Отчего? Мужчина выродился? Или род человеческий, подобно отдельному индивидууму, переживает физическое одряхление? Напротив: северные варвары, можно сказать, заселившие Европу новой расой, были выше и сильнее побежденных и покоренных ими римлян. Значит, сами мы должны бы быть еще сильнее, являясь в большинстве своем потомками этих пришельцев; но первые римляне жили по-мужски<sup>1</sup>, черпая в постоянных упражнениях физическую мощь, в которой им отказала природа, тогда как мы теряем свою в результате вялого, малодушного существования, навяз-

---

<sup>1</sup> Римляне были самыми малорослыми и слабыми из всех народов, населявших Италию. И разница, по словам Тита Ливия, была так велика, что при одном взгляде на воинские части тех и других бросалась в глаза. Однако упражнения и дисциплина до такой степени взяли верх над природными данными, что слабые сделали то, чего не могли сделать сильные, и победили их. (*Прим. Руссо.*)

зываемого нам нашей зависимостью от слабого пола. Если варвары, о которых я только что говорил, жили вместе с женщинами, то жили все же не на их лад: как раз их женщины имели мужество жить на мужской лад так же, как женщины Спарты. Женщина закалялась, а мужчина не становился расслабленным.

Если стремление идти против природы вредно для тела, то еще вредней оно для духа. Ну каков может быть духовный склад мужчины, поглощенного важной обязанностью все время заимать женщин и всю свою жизнь делать для них то, что они должны бы делать для нас, когда наш мозг, изнуренный работой, на которую они не способны, нуждается в отдыхе? Предаваясь этим ребяческим навыкам, что можем мы совершить великого? На наших талантах, наших произведениях — печать наших суетных занятий<sup>1</sup>, если угодно, приятных, но мелких и холодных, как наши чувства; эти произведения имеют в качестве единственного достоинства ту легкую форму, которую так не трудно придать безделкам. Эти тучи регулярно появляющихся на свет сочинений-однодневок, пригодных лишь для забавы женщин и не имеющих ни силы, ни глубины, перелетают с туалета на прилавок. Таким способом можно все время переписывать одно и то же, выдавая это за новинку. Мне приведут два или три произведения, составляющих исключение; но я приведу сто тысяч таких, которые подтверждают правило. Вот почему большая часть творений нашего времени уйдет вместе с ним, и потомство будет удивляться, как мало создано книг в наш век, хотя на самом деле они выходили в огромном количестве.

Нетрудно было бы доказать, что женщины от всего этого не только ничего не выигрывают, но, напротив, очень много теряют. Им льстят без любви; прислуживают без уважения; они

---

<sup>1</sup> Женщины вообще не любят искусства, не понимают его и лишены дарований. Они могут удачно делать маленькие работы, требующие сообразительности, вкуса, грации, порою даже способности философски рассуждать. Могут иногда приобрести научные знания, эрудицию, разные умения и все, что приобретается с помощью труда. Но охватывающий и воспламеняющий душу небесный огонь, испепеляющий и пожирающий гений, пламенное красноречие, переполняющие сердце восторгом божественные порывы — этого произведениям женщин будет всегда не хватать: все они холодны и красивы, как их авторы; в них всегда будет сколько угодно ума, но не будет души; они в сто раз скорей будут говорить о рассудительности, чем о страстности. Женщины не умеют ни описывать, ни понимать — даже любовь. Насколько я знаю, только Сапфо\* да еще одну поэтессу оказалось возможным признать исключением\*. Готов биться об заклад, что «Португальские письма» написаны мужчиной\*. Но всюду, где господствуют женщины, должен господствовать также их вкус. Этим определяется и вкус нашего времени. (Прим. Руссо.)

окружены угодниками, но не влюбленными; и хуже всего то, что первые, не имея чувств, свойственных последним, тем не менее присваивают себе их права. Вот к каким двум результатам привело общение между полами, ставшее слишком тесным и доступным. И вот каким образом дух галантности губит и гений и любовь.

Что касается меня, то я не могу понять, как можно так мало уважать женщин, чтобы иметь смелость все время обращаться к ним с этими пошлыми любезностями, этими унижительными и насмешливыми комплиментами, которым не стараются придать даже видимость искренности. Оскорблять их эту явную ложью — не значит ли ясно подчеркивать, что нет возможности сказать им что-нибудь действительно приятное? Что любовь строит себе иллюзии насчет достоинств любимого — это явление даже слишком распространенное; но разве любви служит весь этот отвратительный жаргон? Разве тот, кто к нему привык, пользуется им не по отношению ко всем женщинам без разбора, и разве он не был бы в отчаянии, если б подумали, что он серьезно полюбил одну? Он может быть спокоен. Надо иметь очень странное представление о любви, чтобы думать, будто такие люди способны любить, и ничто не может быть более чуждым ей, чем волокитство. В моем понимании любовь — жестокая страсть, полная иступления, трепета, восторгов, пламенного красноречия и еще более внушительного молчания, невыразимых взглядов, дерзновенных в самой робости и выдающих желания боязнью; по моему, если после такого могучего языка влюбленный вдруг скажет: «Я вас люблю», возлюбленная ответит с негодованием: «Вы меня разлюбили» — и не захочет больше его видеть.

Наши кружки сохраняют среди нас некое подобие античных нравов. Мужчины, оставшись одни и не имея надобности принижать свои мысли до уровня, доступного женщинам, могут, не одевая разум в наряд галантности, вести важные, серьезные беседы и не бояться быть смешными. Они смело говорят о родине и добродетели, не опасаясь прослыть тяжело думами; смело остаются самими собой, не подлаживаясь под образ мыслей какой-нибудь пичужки. Если разговор по форме не столь учтив, зато доводы приводятся более веские; собеседники не пробавляются шутками да любезностями. От вопросов не отделяются остротами. Не щадят друг друга в споре; каждый, чувствуя, что противник атакует его всеми силами, вынужден со своей стороны употребить все силы для самозащиты: в результате мысль приобретает точность и выразительность. Если ж сюда примешается иной раз крепкое слово, не надо очень уж этого пугаться: чуждающиеся грубости не всегда самые порядочные, а эта немного соленая речь все же предпо-

читательней того более изысканного стиля, при помощи которого оба пола все время совращают друг друга и благопристойно осваиваются с пороком. Образ жизни, более соответствующий наклонностям мужчины, в то же время лучше приспособлен и к его темпераменту. У нас не сидят целый день неподвижно на стуле, а занимаются физическими упражнениями, приходят, уходят; многие кружки постоянно собираются за городом, другие иногда выезжают. Имеются сады для прогулок, просторные двory для упражнений, большое озеро, чтобы плавать, весь край — для охоты. И не надо думать, что охота здесь такая же удобная, как в окрестностях Парижа, где дичь прямо под ногами и ее стреляют с лошади. Наконец эти бесхитростные организации имеют все условия, содействующие воспитанию в людях друзей, граждан, солдат, а следовательно — все наиболее подходящее для свободного народа.

В женских обществах усматривают один недостаток: тот, что они поощряют в участницах злоречивость и недоброжелательную насмешливость. Можно, конечно, представить себе, что сплетни, циркулирующие в маленьком городе, не ускользнут от внимания этих женских объединений; само собой разумеется также, что там не щадят отсутствующих мужей и что любая хорошенькая и пользующаяся успехом женщина не очень обласкана в кружке ее соседки. Но, быть может, в этом неприятном обстоятельстве больше добра, чем зла, и во всяком случае зло это бесспорно менее значительно, чем то, которое оно вытесняет. В самом деле, что лучше? Чтобы женщина дурно говорила о муже, находясь среди подруг, или же наедине с мужчиной дурно поступала по отношению к мужу? Чтобы она порицала поведение соседки или же брала с несл пример? Хотя женевские женщины довольно непринужденно распространяются о том, что им известно, а иногда и о том, что неизвестно, они питают подлинное отвращение к клевете, и от них никогда не услышишь по чьему бы то ни было адресу обвинений, кои они считают ложными; между тем в других краях женщины, равно злокозненные и в своем молчании, и в своих речах, таят из бязни мести то дурное, о чем действительно знают, и разносят по злобе то, что сами выдумали.

Сколько общественных скандалов предотвращает боязнь этих суровых надзирательниц! Они играют в нашем городе чуть ли не роль цензоров. Вот так же в лучшую пору Рима граждане, наблюдая друг за другом, выступали публично с обвинениями — из любви к справедливости; но когда Рим возвратился, и добрым нравам не осталось ничего другого, как прикрывать дурные, разоблачительная ненависть к порокам сама превратилась в порок. На смену самоотверженным граж-

данам-пришли подлые доносчики, и если прежде добрые обвиняли злых, то теперь сами они в свою очередь стали подвергаться обвинениям. Благодарение небесам, мы далеки от столь мрачного конца. Нам нет надобности прятаться от своих собственных глаз из боязни почувствовать отвращение к самим себе. Что касается меня, то мое мнение о женщинах не улучшится от того, что они станут осмотрительней: щадить друг друга будут больше, когда для этого возникнет больше поводов и когда каждой потребуется снисходительное отношение, пример которого она будет подавать другим.

Так что характерные для женских обществ пересуды не должны особенно тревожить. Пусть их злословят, сколько душе угодно, но между собой. Женщины, действительно испорченные, не сумеют долго выдержать такое условие: как бы они ни дорожили злоречием, им захочется привлечь к этому делу мужчин. Что бы мне ни говорили по данному поводу, но я никогда не видел ни одного такого кружка, не испытывая втайне уважения и почтения к составляющим его особам. Таково, говорил я себе, предназначение природы, наделившей тот и другой пол разными вкусами, с тем чтоб оба жили отдельно и каждый на свой лад<sup>1</sup>. Так проводят эти милые особы свои дни — в занятиях, которые им по нраву, или развлечениях простых и невинных, в высшей степени способных увлечь чистое сердце и заставляющих думать о них с лучшей стороны. Не знаю, о чем они говорили, но жили они дружно. Может быть, они беседовали о мужчинах, по обходились без них и, строго критикуя поведение других женщин, сами во всяком случае вели себя безупречно.

Мужские кружки тоже, конечно, имеют свои недостатки; какие дела человеческие свободны от них? Там играют, пьют, напиваются, бражничают ночь напролет; все это, может быть, верно, а может — и преувеличено. Повсюду добро смешано со злом, но в разных пропорциях. Злоупотреблять можно всем: это общее место, на основании которого нельзя ни все отвергать, ни все принимать. Принцип отбора прост: если добро перевешивает зло, данное явление надо принять, несмотря на его недостатки; если зло перевешивает добро, надо это явление отвергнуть, даже с его достоинствами. Если явление само по себе хорошо, а дурно лишь в своих злоупотреблениях, если зло-

---

<sup>1</sup> Это правило, представляющее собой основу добрых нравов, получило ясное и подробное развитие в одной рукописи, данной мне на хранение, которую я думаю опубликовать, если только успею, хотя это извещение вряд ли способно заранее обеспечить ей благосклонность дам. [Нетрудно заметить, что рукопись, о которой идет речь, — это «Новая Элоиза», появившаяся через два года после данной работы]. \* (Прим. Руссо.)



употребления эти можно без особого труда предотвратить или без особого ущерба терпеть, они могут служить лишь поводом, но не основанием к упразднению полезного обычая; но то, что дурно по существу, останется дурным всегда<sup>1</sup>, какие усилия ни прилагались бы к тому, чтобы сделать из него хорошее употребление. В этом существенная разница между кружками и театральными зрелищами.

Граждане одного и того же государства, жители одного и того же города — не отшельники; они не могут жить все время в одиночестве, врозь; и даже если бы могли, не следовало бы их к этому принуждать. Только самый дикий деспотизм пугается при виде группы в семь-восемь человек, подозревая всякий раз, что они толкуют о своем бедственном положении.

Из всех форм связи, какие могут объединять частных лиц в таком городе, как наш, кружки — бесспорно самая разумная, самая солидная и наименее опасная, так как не стремится, да и не может быть тайной, а является гласной, законной и так как в ней господствуют порядок и дисциплина. Нетрудно доказать, что злоупотребления, к которым она может дать повод, породились бы точно так же всякой другой или же в подобных случаях имели бы место еще худшие. Прежде чем разрушать обычай, уже установившийся, надо хорошенько взвесить: а что станет на его место? Если кто может предложить такой, который осуществим и не влечет за собой никаких злоупотреблений, пусть предложит — и пусть кружки будут отменены. В добрый час! А пока, раз так нужно, предоставим возможность провести ночь за стаканом вина тем, кто, быть может, употребил бы ее на что-нибудь еще худшее.

Всякая неумеренность предосудительна, а особенно та, которая лишает нас самой благородной нашей способности. Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по крайней мере на время, и в конце концов превращает его в животное. Однако любовь к вину — не преступление; и она редко приводит к нему; она отупляет человека, но не делает его жестоким<sup>2</sup>. На одну легкую ссору, ею вызванную, приходится

---

<sup>1</sup> Я говорю о предметах мира нравственного. В мире физическом нет ничего абсолютно дурного: там все в целом — добро. (*Прим. Руссо.*)

<sup>2</sup> Не надо чернить даже порок: разве он и без того не довольно безобразен? Вино не прибавляет жестокости; оно разнуздывает ее. Тот, кто в пьяном виде убил Клита, в спокойном состоянии послал на смерть Филотаса. Если опьянение порождает ярость, то какая страсть не приводит к подобным же явлениям? Разница та, что в последних случаях это движение таится в глубине души, а в первом — оно вспыхивает и гаснет мгновенно. Если не считать этих вспышек, преходящих и легко предупреждаемых, мы можем быть уверены, что каждый, совершающий в пьяном виде злые поступки, трезвый питает злые намерения. (*Прим. Руссо.*)

сотня ею же завязанных длительных привязанностей. Пьющие отличаются по большей части общительностью, сердечностью; почти все они — добрые, прямые, справедливые, честные, порядочные люди, если не считать их недостатка. Можно ли сказать то же самое о пороках, которые придут на смену этому? Или предполагается превратить население целого города в людей без недостатков и во всем себя ограничивающих? Как часто кажущаяся добродетель скрывает действительный порок! Разумный воздержан благодаря своей умеренности, мотешник — из двоедушия. В стране, где царят дурные нравы, интриги, измены, прелюбодеяния, страшатся минуты откровенности, когда сердце обнаруживает себя, не думая о последствиях. Всюду ненавистники пьянства — люди, более всего заинтересованные в том, чтобы оградить себя от него. В Швейцарии оно чуть ли не в почете, а в Неаполе внушает ужас. Но по существу что опасней: невоздержанность швейцарца или умеренность итальянца?

Повторяю: лучше быть трезвым и правдивым — не только для себя, а даже для общества; ибо все, что дурно в отношении нравственном, дурно и в политическом. Но проповедник ограничивает свое внимание нравственным злом, а государственный деятель видит лишь политические последствия зла: первый озабочен лишь недоступным человеку нравственным совершенством, а второй — лишь возможным благополучием государства. Таким образом, не все, что подлежит осуждению с высоты церковной кафедры, должно караться законом. Еще ни один народ не погиб от чрезмерного потребления вина — все народы погибали от женского распутства. Причина этого различия ясна: первый порок отбивает от всех остальных, а второй чреват ими. Играет здесь роль и разница в возрасте. Вино не так привлекает молодежь и не так сильно действует на нее; горячая кровь родит в ней другие желания; в возрасте страстей все они вспыхивают от одной, разум слабеет, едва родившись, и человек, еще не укрощенный, еще не успев познать иго законов, уже не поддается обузданию. Но пусть полужастывшая кровь ищет средства, которое оживило бы ее; пусть благодетельный напиток заменяет ей утраченный пыл;<sup>1</sup> когда старик злоупотребляет этим приятным целительным средством, он успел уже выполнить свой долг перед родиной, он отнимает у нее только бесполезный остаток своей жизни. Конечно, он поступает неправильно: выбывает заживо из числа граждан. Но тот и вовсе не становится гражданином: он делается скорей врагом общества, совращая своих

---

<sup>1</sup> Платон в своих «Законах» разрешает одним только старикам употреблять вино, в некоторых случаях даже с излишком. (Прим. Руссо.)

соучастников, подавая им дурной пример и скверно влияя на них своим развратным поведением,— в особенности своей тлетворной моралью, которую он старается распространять, чтобы его поведение было одобрено. Лучше бы ему не родиться!

Игра приводит к более опасному злоупотреблению, которое, однако, не трудно предотвратить или пресечь. Это дело полиции, которой легче и приличней осуществлять свой надзор в кружках, нежели в частных домах. Многие могут сделать здесь и общественное мнение. И как только упражнения в силе и ловкости займут подобающее место, карты, кости, азартные игры неминуемо утратят интерес. Вообще, по-моему, что бы там ни говорили, эти праздные и обманчивые способы наполнения своего кошелька никогда не получают большого распространения у народа рассудительного и трудолюбивого, слишком хорошо знающего цену времени и деньгам, чтобы тешиться одновременной потерей и того и другого.

Сохраним же кружки, при всех их недостатках: ибо недостатки эти присущи не кружкам, а людям, в них участвующим, и нельзя представить себе такую форму общественной жизни, при которой эти самые недостатки не имели бы тяжелых последствий. Еще раз: будем искать не какое-то фантастическое совершенство, а то наилучшее, что допускают человеческая природа и общественное устройство. Иному народу я, может быть, и сказал бы: уничтожьте кружки и котерии, уберите все преграды благопристойности между полами, дойдите до полной развращенности, если это только возможно; но вы, женеvцы, остерегитесь, пока не поздно. Не делайте первого шага, который никогда не бывает единственным, — подумайте о том, что легче сохранить добрые нравы, чем покончить с дурными.

Всего каких-нибудь два года существования театра — и все вверх дном. За всеми развлечениями не угонишься: так как представления будут даваться в те же часы, когда собираются кружки, последние распадутся. Слишком много участников покинут их; а оставшиеся будут посещать их не настолько усердно, чтобы что-то давать друг другу и сколько-нибудь продлить существование этих объединений. Ежедневные встречи обоих полов в одном и том же месте; посещение его целыми компаниями; изображаемый там уклад жизни, которому сейчас же станут подражать; целый парад дам и девиц, разодетых в пух и прах и выставленных для всеобщего обозрения в ложах, словно товар на прилавке магазина в ожидании покупателей; наплыв блестящей молодежи мужского пола, явившейся в свою очередь себя показать и решительно предпочитающей шаркать по паркету в театре, чем заниматься

физическими упражнениями в Плен-Пале; приглашения на ужин после спектакля, — хотя бы только с актрисами; наконец, пренебрежение старинными обычаями, как неизбежный результат усвоения новых, — все это очень скоро приведет к замерз нашей былой простоты приятной парижской жизнью и славным французским времяпрепровождением, и я даже сомневаюсь, чтобы женевские парижане надолго сохранили приверженность к нашему образу правления.

Не приходится скрывать: намерения пока честные, но нравы уже заметно клонятся к упадку, и мы следуем издали за теми самыми народами, участи которых все время опасаемся. Меня уверяют, например, будто воспитание юношества находится в общем на гораздо более высоком уровне, чем прежде; однако это можно доказать, лишь установив, что оно готовит лучших граждан. Конечно, дети научились лучше отвешивать поклоны, более галантно подавать руку дамам и говорить им бесконечные любезности, за которые я, откровенно говоря, порол бы их; они умеют заявлять свое мнение, резать правду в глаза, допрашивать, обрывать взрослых, нескромно и назойливо всем докучать. Говорят, это их формирует; я согласен, это формирует их как нахалов, и из всего, чему они обучаются с помощью такой методы, — вот единственное, чего они не забывают. Но это еще не все. Чтоб удержать их возле женщин, которых они призваны развлекать, стараются воспитывать их самих как женщин: защищают их от солнца, от ветра, от дождя, от пыли, чтобы они не могли ничего этого выносить. Так как совсем отнять у них воздух невозможно, устраивают хоть так, чтоб он доходил до них, потеряв половину своих качеств. Их вовсе лишают физических упражнений, убивают в них способность к чему бы то ни было, делают их беспомощными во всем, что не относится к их прямому назначению. Единственное, чего женщины не требуют от этих жалких рабов, — это чтоб они посвятили себя целиком служению им, женщинам, как это имеет место на Востоке. За исключением сказанного, единственное их отличие от женщин в том, что, поскольку природа отказала им в женской грации, они заменяют ее смешными ужимками. В мое последнее посещение Женевы \* я уже видел несколько таких девиц в камзолах, с белыми зубками, пухлыми ручками, мелодичным голоском, хорошеньким зеленым зонтиком в руке, которые довольно неловко изображали мужчин.

В мое время к делу подходили проще. Дети, воспитанные по-деревенски, не думали о том, как бы сохранить цвет лица, и не боялись вредного действия воздуха, к которому привыкли с пеленок. Отцы брали их с собой на охоту, в поход, на все состязания, во все собрания. Робкие и застенчивые в присут-

ствии взрослых, они были смелы, горды, задиристы между собой; им не надо было беречь прическу; они боролись, бегали взапуски, бились на кулачках, дрались не на шутку, иной раз наставляли друг другу шишки, потом обнимались, плача. Приходили домой потные, запыхавшиеся, оборванные; это были настоящие сорванцы; но сорванцы, которые потом стали мужчинами с сердцем, полным беззаветной любви к родине и готовности пролить за нее кровь. Дай бог, чтобы это можно было сказать о наших расфуфыренных красавчиках и чтобы эти пятнадцатилетние мужчины не превратились в тридцатилетних младенцев!

К счастью, не все они такие. У большинства сохранилась еще старинная суровость, хранительница хорошего общественного устройства и добрых нравов. Да и те, кого слишком изнеженное воспитание на время расслабило, должны будут, став взрослыми, подчиниться обычаям своих соотечественников; первые утратят свою угловатость, вращаясь в свете; вторые укрепят свои силы, применяя их в деле; все, я надеюсь, станут тем, чем когда-то были их предки или хотя бы чем являются теперь их отцы. Но не будем обольщаться мыслью, будто нам удастся сохранить свою свободу, отказавшись от нравов, благодаря которым мы ее добились.

Возвращаясь к нашим актерам; и опять-таки, допустив, что они будут иметь успех, хоть это и представляется мне невозможным, я нахожу, что успех этот ударит по нашему общественному устройству, — причем не только косвенно, ударив по нашим нравам, но и непосредственно, нарушив равновесие между разными частями государственного целого, без которого это целое не может оставаться незыблемым.

Из многих причин, которые я мог бы привести, ограничусь одной, наиболее убедительной для подавляющего большинства, так как она сводится к соображениям материальной, денежной заинтересованности, в глазах толпы всегда более существенным, чем последствия моральные, так как ей не видны ни источник последних, ни их влияние на судьбу государства.

Театральные зрелища, в случае их процветания, можно рассматривать, как своего рода обложение, которое, будучи добровольным, тем не менее обременительно для народа, так как представляет собой постоянный повод для расходов, которому трудно противостоять. Обложение это дурно не только тем, что ничего не дает верховной власти, но особенно тем, что распределение его, отнюдь не пропорциональное, взваливает непосильное бремя на бедного и облегчает положение богатого, делая ненужными более дорогие удовольствия, на которые ему пришлось бы тратиться при отсутствии театра. Чтобы понять это, достаточно припомнить то обстоятельство, что разница

в цене билетов не пропорциональна имущественному положению посетителей. Во Французской Комедии места в первых ложах и на сцене идут по четыре франка в обычные дни и по шести — в дни третной надбавки; \* партер — по двадцать су, и эту сумму пробовали не раз даже повысить. Но никто не скажет, что богатые зрители, занимающие места на сцене, только в четыре раза богаче бедных, которые ходят в партер. Говоря вообще, первые чрезвычайно богаты, а большинство остальных не имеет ничего <sup>1</sup>. Тут все равно как с налогами на зерно, на вино, на соль, на все предметы насущной необходимости; на первый взгляд, налоги эти кажутся справедливыми, а по существу они в высшей степени несправедливы: потому что бедный, не имея возможности тратить на что бы то ни было, кроме как на самое необходимое, вынужден отдавать три четверти расходуемых им сумм на налоги, тогда как для богатого налог почти совершенно нечувствителен <sup>2</sup>, потому что это необходимое составляет лишь незначительную часть его расходов. При таком порядке кто мало имеет — тот много платит, а кто имеет много — тот платит мало. Я не вижу тут особенной справедливости.

Меня спросят: кто заставляет бедняка ходить в театр? Я отвечу: прежде всего те, которые учредили театр на соблазн ему; во-вторых, самая бедность, обрекающая его на непрерывный труд, которому конца не видно и которая вызывает поэтому настоятельную потребность в каком-нибудь отвлечении, без чего он невыносим. Бедняк не считает себя несчастным от того, что ему приходится работать без передышки, если все делают то же самое; но разве не мучительно человеку труда отказывать себе в удовольствии, которое доступно праздным? И вот он тоже принимает в нем участие. Но то самое удоволь-

---

<sup>1</sup> Даже если увеличить разницу в цене билетов пропорционально богатству зрителей, этим не удастся установить равновесие. Худшие места, продаваемые по слишком низкой цене, предоставлялись бы черни, и каждый, стараясь попасть в более почетные места, тратил бы всегда не по средствам. Подобное явление можно наблюдать на представлениях Ярмарки. Такие несообразности вызываются тем, что первые ряды играют тут роль неподвижного рубежа, к которому остальные все время приближаются, а отодвинуть его нельзя. Бедняк все время старается подняться над своими двадцатью су; а богач не может от него убежать дальше, чем на свои четыре франка; он поневоле вынужден мириться с тем, что к нему приближаются, а если при этом страдает его гордость, зато выигрывает кошелек. (Прим. Руссо.)

<sup>2</sup> Вот почему чиновники Бодена \* и другие наделенные общественными функциями мошенники устанавливают свои монополии всегда на предметы насущной необходимости, чтобы медленно морить голодом народ, не раздражая богатых. Затронь они какой-нибудь ничтожный предмет роскоши, все пропало. Но богатые довольны, так чего думать о народе? (Прим. Руссо.)

ствие, которое помогает богатому экономить, вдвойне подрывает положение бедного — и непосредственным ростом расходов, и ослаблением трудового усердия, как я показал выше.

Из этих новых соображений явствует, мне кажется, что современные театральные зрелища, на которые попадаешь только за деньги, всюду содействуют росту имущественного неравенства, — в столицах, правда, не столь сильно, как в больших городах, вроде нашего. Я согласен, что это неравенство, если оно не переходит известных пределов, имеет свои преимущества; но и вы согласитесь также, что оно должно иметь границы, особенно в маленьком государстве, да еще республике. В монархии, где все сословия являются промежуточными ступенями между государем и народом, переход тех или иных лиц из одного сословия в другое может и не иметь особого значения: раз на их место становятся другие, общественная иерархия остается ненарушенной. Но в демократии, где и подданные и правители — одни и те же люди, лишь рассматриваемые под разным углом зрения, как только меньшинство берет верх над большинством в отношении богатства, государство неизбежно гибнет или изменяет свою форму. Богатеет ли богатый, или нищает бедный — неравенство состояний и в том и в другом случае только растет; и эта-то разница, превысив меру, нарушает равновесие, о котором я говорил.

В монархии никакое богатство не поставит частное лицо выше государя; но в республике оно легко может поставить своего владельца выше закона. Тут правительство теряет силу, и богатый становится подлинным властелином. Исходя из этих неоспоримых истин, остается проверить, не достигло ли у нас неравенство того крайнего предела, за которым оно уже начинает угрожать существованию Республики. По этому вопросу сошлюсь на тех, кто лучше меня знаком с нашим общественным устройством и распределением богатств у нас в стране. Мне же хорошо известно, что, поскольку время само по себе сообщает порядку вещей естественное движение по наклонной плоскости в сторону неравенства, доводя последовательное развитие этого процесса до крайнего предела, величайшей неосторожностью было бы ускорить этот процесс, создавая благоприятствующие ему учреждения. Великий Сюлли \*, любивший нас, сумел бы сказать нам: во всякой маленькой республике, а особенно в Женеве, театральные зрелища и комедии ослабляют государство.

Если создание театра само по себе так для нас вредно, то какую пользу извлечем мы из пьес, которые там будут играть? Если даже они и доставляют какие-то преимущества тем народам, для которых были написаны, то самые преимущества

эти обратятся во вред нам, преподнося за образец то, что другим выставялось как подлежащее осуждению, или, во всяком случае, прививая нам вкусы и склонности к светским предметам, совершенно для нас чуждым. Трагедия будет выводить перед нами тиранов и героев. На что нам они? Годимся ли мы на то, чтобы иметь их или стать ими? Она внушает нам пустое преклонение перед властью и знатностью. На что это нам? Станем ли мы от этого знатней и могущественней? Какой нам смысл изучать обязанности королей на сцене, пренебрегая исполнением своих собственных? Разве бесплодное преклонение перед театральными добродетелями возместит нам отсутствие простых и скромных добродетелей, формирующих честного гражданина? Вместо того чтобы избавить нас от наших недостатков, театр введет к нам чужие: он убедит нас в том, что мы напрасно презираем пороки, пользующиеся таким уважением в других местах. Каким бы ни был маркиз сумасбродом, он все-таки маркиз! Представьте себе, как звучит этот титул в стране, счастливой тем, что титулов не имеет! И сколько сидельцев решит удовлетворить последним требованиям моды, подражая повадкам маркизов прошлого века? Не буду повторять того, что я сказал о честности, всегда осмеиваемой, о пороке ловком и всегда торжествующем, о постоянных примерах злодеяний, неизменно обращаемых в шутку. Какие уроки для народа, чувства которого сохранили еще свою естественную прямоту, который считает, что негодяй всегда заслуживает презрения и что в порядочном человеке нет ничего смешного. Как? Платон изгонял Гомера из своей республики \*, а мы потерпим Мольера в нашей? Может ли с нами приключиться что-нибудь хуже, чем уподобиться людям, которых он выводит в своих пьесах, хотя бы даже сочувственно?

О них я сказал как будто достаточно; но не лучшего мнения я и о героях Расина, таких нарядных, таких слащавых, таких нежных, являющихся, под маской мужества и добродетели, образцами молодых людей, о которых я говорил, предающихся волокитству, изнеженной любви, всему, что способно расслабить мужчину и охладить его рвение к подлинным своим обязанностям. Все французские пьесы дышат нежностью; это великая добродетель, которой приносят там в жертву все остальное или во всяком случае придают ни с чем не сравнимую привлекательность для зрителей. Я не говорю, что это неправильно с точки зрения задач, стоящих перед поэтом: знаю, что человек без страстей — существо фантастическое; что весь интерес театрального зрелища в изображении страстей; что сердце не интересуется ни теми из них, которые ему чужды, ни теми, которых не хочешь видеть в ближнем, хотя сам подвержен им. Любовь к человечеству, любовь к родине —



вот чувства, изображение которых сильнее всего трогает тех, кто ими полон; но когда обе эти страсти угасли, для замены остается только одна — любовь в собственном смысле слова, так как ее очарование более естественно и трудней исчезает из сердца, чем очарование других страстей. Между тем она подходит не всем одинаково: ее можно допустить скорей как дополнение к добрым чувствам, нежели как чувство, взятое отдельно; не то чтобы она не была похвальна сама по себе, как любая умеренная страсть; но опасны ее неизбежные излишества.

Самый дурной человек, — тот, который больше всего замыкается в себе, направляет все свои сердечные помыслы на самого себя. А самый лучший — тот, который делит свои привязанности поровну между всеми своими ближними. Гораздо лучше любить женщину, чем только одного себя на свете. Но тот, кто нежно любит отца с матерью, друзей, родину и человечество, унижает себя необузданной привязанностью, которая очень скоро начинает вредить всем остальным, неотвратимо становясь безраздельно господствующей. Исходя из этого принципа, я утверждаю, что есть страны, где нравы так дурны, что было бы счастьем, если бы там можно было подняться до любви; и другие страны, где нравы настолько хороши, что было бы обидно спуститься к ней, и я осмеливаюсь относить свою страну к этой группе. Прибавлю, что изображение слишком сильных страстей нам опасней показывать, чем кому бы то ни было, потому что у нас слишком велика естественная склонность полюбить их. Женевец под флегматичной, холодной внешностью таит душу пламенную и чувствительную, которую легче привести в волнение, чем сдержать. В этом обиталище разума красота — не чужестранка и правит сердцами; часто там, на дрожжах меланхолии, всходит любовь; тамошние мужчины даже слишком способны испытывать бурные страсти, а тамошние женщины внушать их; и печальные последствия, иной раз вызываемые страстями, даже слишком внятно говорят об опасности пробуждать их нежными и трогательными зрелищами. Если герои некоторых пьес подчиняют любовь долгу, сердце, восхищаясь их силой, само поддается их слабости; учишься не столько подражать их мужеству, сколько попадать в такое положение, когда оно становится нужным. Конечно, это лишняя проверка добродетели; но кто рискует подвергать ее подобной борьбе, тот заслуживает поражения. Сама любовь надевает маску добродетели, чтоб захватить ее врасплох: вооружается ее энтузиазмом, присваивает себе ее силу, подражает ее красноречию, а когда обман обнаружен — уже поздно возвращаться назад! Сколько людей благородных, соблазнившись этой видимостью, превратились мало-помалу из

нежных и самоотверженных влюбленных, какими они были прежде, в низких, бессовестных соблазнительях, не уважающих супружескую верность, не умеющих считаться с правами доверия и дружбы! Счастлив, кто очнулся на краю пропасти и удержался от падения! Но как остановиться в стремительном беге на всем ходу? Разве научишься преодолевать нежные чувства, каждый день поддаваясь им? Нетрудно победить легкую склонность; но тому, кто знал настоящую любовь и умел победить ее — о, простим этому смертному, если только он существует, его притязания на добродетель! \*

Таким образом, с какой стороны ни подойти к вопросу, нам бросается в глаза одна и та же истина: что бы полезного ни заключали в себе театральные пьесы для тех, для кого они были написаны, нам они окажутся вредными во всем, вплоть до вкуса, который они, надо думать, нам привьют, ибо это будет дурной вкус, лишенный такта, деликатности, весьма некстати пришедший на смену нашему здравому смыслу. Вкус зависит от многого: образцы для подражания, которые видишь в театре, сравнения, которые невольно там делаешь, размышления о способах понравиться зрителям могут способствовать его зарождению, но недостаточны для его развития. Нужны большие города, искусство, роскошь, нужно близкое общение между гражданами, их тесная зависимость друг от друга, нужны галантные нравы и даже распутство, нужны пороки, требующие прикрас, чтобы возникло стремление для всего найти красивые формы и чтоб эти поиски увенчались успехом. Часть этих условий всегда будет у нас отсутствовать, и мы должны трепетать при мысли о возможности приобрести остальное.

У нас будут актеры, но какие? Не с неба же свалится хорошая труппа в город с населением в двадцать четыре тысячи! Итак, у нас будут сперва плохие актеры, а мы будем сперва плохими судьями. Что ж, мы воспитаем их или они воспитают нас? Мы будем получать хорошие пьесы, но, поверив на слово, что они хороши, не станем с ними знакомиться: на сцене они ничего не выиграют против чтения. Но мы все же захотим быть знатоками, судьями в делах театральных; захотим решать, заплативши деньги, — и только попадем в смешное положение. Можно не иметь вкуса и не быть смешным, — если ты на него не претендуешь; но кичиться тем, что вкус у тебя есть, когда на самом деле он скверный, — это смешно. Да и что собой представляет, в сущности, этот пресловутый вкус? Умение разбираться в пустяках. Право, когда в руках у тебя такое сокровище, как свобода, все остальное — просто ребячество.

Из всех этих затруднений я вижу только один выход: это — самим сочинять драматические произведения для своего театра, чтобы они были подходящими, и завести для этого,

прежде чем актеров, своих собственных авторов. Ведь нет ничего хорошего в том, что нам будут показывать какие угодно картины; нам нужны только изображения предметов благопристойных и подходящих людям свободным<sup>1</sup>. Конечно, такие пьесы, как у древних греков, показывающие пережитые родиною бедствия или современные отрицательные явления в жизни народа, могли бы давать зрителям полезные уроки. Но у нас какие будут герои трагедии? Бертелье и Леврери? \* О достойные граждане! Да, вы были герои; но ваша неизвестность припихает вас, ваши простонародные имена бросают тень на ваши великие души;<sup>2</sup> а нам самим уже не хватает величия, чтобы уметь восхищаться вами. А какие будут у нас тираны? Дво-

---

<sup>1</sup> Si quis ergo in nostram urbem venerit, qui animi sapientia in omnes possit sese vertere formas, et omnia imitari, et poemata sua ostentare, venerabimur quidem ipsum, ut sacrum, admirabilem et jucundum: dicemus autem non esse ejusmodi hominem in republica nostra, neque fas esse ut insit, mittemusque in aliam urbem, unguento caput ejus perungentes, lanaque coronantes. Nos autem austeriori minusque jucundo utemur poeta, fabularumque fictore, utilitatis gratia, qui decori nobis rationem exprimat, et quæ dici debent dicat in his formulis quas a principio pro legibus, tulimus, quando cives erudire aggressi sumus. (Платон, Государство, кн. III, 358). (Прим. Руссо.)

(Итак, если в наш город придет человек, способный, по мудрости своего духа, принять любой облик и подражать чему угодно и предлагающий нашему вниманию свои произведения, мы почтим его как мужа дивного \*, любезного и достойного всяческого восхищения, но скажем, что в нашем государстве нет и не должно быть места подобному человеку, и отошлем его в другой город, умастив голову его благовониями и увенчав овечьей шерстью. В интересах пользы мы обратимся к другому поэту и творцу вымыслов — более строгому и не столь забавному, который смыслом своего рассказа направит нас к добродетели и будет говорить то, что должно говорить, — в тех словах, которые мы с самого начала, как только приступили к обучению граждан, приняли в качестве законов.) (лат.)

<sup>2</sup> Филибер Бертелье был Катонем нашей родины — с той разницей, что с Катонем кончилась общественная свобода, с Бертелье она началась. В момент его ареста при нем была ручная ласка; он отдал свою шпагу с той гордостью, которая так к лицу добродетели в несчастье; потом продолжал играть с лаской, не удастая ответом оскорбления стражи. Он умер, как подобает мученику за свободу.

Жан Леврери был Фавонием \* Бертелье не потому, чтобы ребячески подражал его речам и манерам, но потому, что, как и Бертелье, пошел добровольно на смерть, хорошо зная, что смерть его послужит родине лучшим примером, чем жизнь. Перед отправлением на эшафот он написал на стене тюрьмы следующую эпитафию, сложенную в память его предшественника:

Quid mihi mors nocuit? Virtus post fata virescit.  
Nec cruce, nec sævi gladio perit illa tyranni.

(Прим. Руссо.)

(Чем повредит мне смерть? Моя процветет добродетель.  
Ни на кресте, ни мечом тиран ее не погубит) (лат.).

ряне Ложки<sup>1</sup>, женевские епископы, савойские графы, предки династии, с которой мы только что заключили договор и которую должны уважать? Пятьдесят лет тому назад я не поручился бы, что на сцене не выступили бы и черт<sup>2</sup> с антихристом. У греков — народа, вообще говоря, довольно веселого, — как только речь заходила о родине, все становилось важным и серьезным. Но в наш игривый век, когда ничто не укроется от насмешек, кроме власти, о героизме решаются говорить только в больших государствах, хотя найти его можно только в маленьких.

Что касается комедии, то о ней и думать нечего. Она привела бы у нас к самым отчаянным беспорядкам; она стала бы орудием групп, партий, личной мести. Город наш так мал, что самые общие очерки нравов быстро вырождались бы в сатиры на личности. Пример древних Афин, города с несравненно большим населением, чем Женева, является для нас поучительным уроком: именно в театре был предрешен там вопрос об изгнании ряда великих людей, а также о смерти Сократа; \* именно безудержная страсть к театру погубила Афины, и пережитые ими бедствия вполне оправдали скорбь, испытанную Солоном на первых представлениях трагедии Феспида \*. В чем для нас нет сомнения, так это в том, что будущее республики предстанет в очень мрачном свете, если мы увидим, как ее граждане, переодетые в салонных остроумцев, занимаются сочинением французских стихов и театральных пьес, проявляя таланты, которые нам совершенно чужды и навсегда останутся чуждыми. Но пусть г. Вольтер соблаговолит писать для нас трагедии по образцу «Смерти Цезаря», или первого действия «Брута» \* — и, уж если нам во что бы то ни стало нужен театр, пусть обяжется всегда питать его своим гением и жить столько же, сколько проживут его пьесы.

---

<sup>1</sup> Это было объединение савойских дворян, давших обет грабить город Женеву и носивших, в виде орденского значка, на шее ложку. (Прим. Руссо.)

<sup>2</sup> В молодости я читал одну трагедию об Эскаладе, где на самом деле среди действующих лиц был черт. Мне рассказывали, что на первом и единственном представлении пьесы этот персонаж, появившись на сцене, сразу удвоился, словно оригинал рассердился, что его посмели изобразить; все тотчас в ужасе разбежалось, и представление пришлось прекратить. Выдумка нелепая, и в Париже она покажется еще гораздо нелепей, чем в Женеве; между тем можно предположить, что это появление двойника было театральным приемом, производившим действительно страшное впечатление. Я представляю себе только одно, еще более простое и потрясающее зрелище: руку, выходящую из стены, чтобы начертать неведомые слова на пиру Валтасара. От одной мысли об этом бросает в дрожь. Мне кажется, нашим авторам опер далеко до этих величественных вымыслов; желая устрашить, они громоздят всякие бутафорские ужасы, не производящие ровно никакого впечатления. Даже на сцене не надо все показывать в подробности, а лишь дать толчок воображению. (Прим. Руссо.)

Я того мнения, что нужно тщательно взвесить все эти соображения еще даже прежде, чем обратить внимание на пристрастие к нарядам и развлечениям, которое должен вызвать в среде нашей молодежи пример актеров. Но как-никак — этот пример тоже окажет свое действие, и если повсюду законы сами по себе вообще бессильны устранить пороки, порождаемые самой природой вещей, как это я, по-моему, показал, насколько же бессильней будут они у нас, где первым признаком их слабости явится появление актеров? Ибо не актеры, собственно говоря, привьют вкус к развлечениям; напротив того, как раз этот вкус предварит их появление, откроет перед ними дверь, а они только усилят уже определившуюся склонность, которая, заставив их принять, с тем большим основанием заставит и сохранить их со всеми присущими им недостатками.

Я все время исхожу из предположения, что они прилично устроятся в таком маленьком городе, и утверждаю, что если мы отнесемся к ним с уважением, как вы того хотите, то в стране, где все более или менее равны, они станут равными со всеми и, кроме того, приобретут расположение общества, естественно им принадлежащее, а не будут как всюду — в почете у одной только знати, чьего благоволения они ищут и чьей немилости боятся. Им придется считаться с представителями власти, — пусть так. Но эти представители власти до вступления в должность были частными лицами. Они, возможно, дружили с актерами; у них дети, которые тоже будут водить с ними дружбу, жены, любящие удовольствия. Все эти связи приведут к снисходительности, к покровительству, и этому нелепо будет противодействовать.

Скоро актеры, уверенные в своей безнаказанности, добьются ее и для своих подражателей. Смута начнется с них, но невозможно предвидеть, где она копчится. Женщины, молодежь, богачи, люди праздные — все будут на их стороне, все примутся обходить законы, для них стеснительные, все станут поощрять их распушенность: каждый, угождая им, будет думать, что старается для своих удовольствий. Кто решится пойти против этого потока? Разве какой-нибудь упрямый старый пастор, которого не станут слушать, чей здравый смысл и серьезность будут расценены безрассудной юностью как педантство. Наконец, если актеры к своему успеху прибавят еще хоть немного ловкости и умения, — я ручаюсь, тридцати лет не пройдет, как они начнут вершить дела государства<sup>1</sup>. Искатели мест станут

---

<sup>1</sup> Следует помнить, что в Женеве театр может существовать лишь при условии неистового увлечения им; умеренное означало бы провал. А разум требует, чтобы, исследуя воздействие театра, мы исходили из условий, способных обеспечить ему существование. (*Прим. Руссо.*)

перед ними заискивать в расчете на их поддержку; выборы будут происходить в уборных актрис, и свободным народом начнут управлять ставленники шайки скоморохов. Перо валится из рук при одной мысли об этом. Пусть эту мысль гонят прочь сколько угодно, пусть обвиняют меня в сгущении красок, скажу только одно: что бы ни произошло, этим людям либо придется изменить свои нравы, живя среди нас, либо они испортят наши. Когда эта альтернатива перестанет нас пугать, пускай актеры едут: они уже не смогут повредить нам.

Вот, сударь, соображения, которые я должен был представить публике и вам, по вопросу, поднятому вами в статье, где, на мой взгляд, ему совершенно не место. Если даже мои доводы, не столь убедительные, какими они мне представляются, не сумеют перевесить ваши, вы все же согласитесь, что в таком маленьком государстве, как Женевская республика, всякие нововведения опасны, и их никогда не надо производить без важных и настоятельных причин. Так в чем же состоит неотложная необходимость данного нововведения? Какие неурядицы вынуждают нас прибегнуть к столь рискованному средству? Какая стряется над нами беда, если мы этого не сделаем? Разве наш город так велик, а порок и праздность настолько в нем распространились, что он больше не может оставаться без этих зрелищ? Вы говорите, что он мирится с еще худшими, оскорбляющими в равной мере и вкус и нравы; но одно дело показывать дурные нравы и совсем другое — подрывать добрые: ибо последнее зависит не столько от характера самого зрелища, сколько от впечатления, им производимого. В этом смысле, что общего между какими-то случайными фарсами и постоянной сценой, где даются комедии, между повесничанием какого-нибудь шарлатана и регулярными постановками драматических произведений, между ярмарочными подмостками, сколоченными для потехи черни, и солидным театром, где порядочные люди рассчитывают почерпнуть знания? Одно из этих развлечений не оставляет следов, — уже на другой день о нем забыли; а другое — дело серьезное, требующее внимания правительства. В любой стране позволительно тешить ребят и самому ребячиться сколько вздумается. Если эти пошлые зрелища не отвечают требованиям хорошего вкуса, тем лучше: от них скорей отвернутся; если они грубы, — значит, не столь привлекательны. Порок вкрадывается, не оскорбляя порядочности, но принимая ее внешность; а сквернословие противно скорей благовоспитанности, чем добрым нравам. Вот почему выражения всегда более изысканны, а уши более чувствительны в странах более развращенных. Разве заметно, чтобы базарные перебранки особенно возбуждали молодежь, когда она их слышит? Совсем другое дело — вкрадчивые речи на

сцене, и лучше молодой девушке услышать сотню раешников, чем побывать хоть раз на представлении «Оракула» \*.

Впрочем, что до меня, я, признаться, предпочел бы, чтобы мы обходились без всяких подмостков и, как малые, так и великие, черпали наслаждение и обязанности в нашем общественном положении и в самих себе; но из того, что надлежит прогнать фигляров, отнюдь не следует, будто надо призвать актеров. Вы были свидетелем того, как в вашей собственной стране город Марсель долго противился такому же нововведению \*, не подчиняясь даже повторным распоряжениям министра и храня в своем презрении к легкомысленной забаве благородное воспоминание о былой свободе. Какой пример для города, еще не утратившего ее!

Только бы не вздумали заводить подобное учреждение в виде опыта, с тем чтобы упразднить его, как только возникнут отрицательные последствия: ведь последствия эти не исчезают вместе с театром, которым они вызваны. Они остаются и после того, как причина устранена, и, хоть раз дав о себе знать, тотчас оказываются неустраняемыми. Наши нравы, раз испортившись, наши вкусы, раз изменившись, уже не восстановятся в том виде, какой они имели до того, как были искажены; самые наши удовольствия, наши невинные удовольствия потеряют свое очарование; театр отвратит нас от них навсегда. Привыкнув к безделью и не зная, чем заполнить досуг, мы станем друг другу в тягость; актеры после отъезда оставят нам скуку в залог своего возвращения; она скоро принудит нас вернуть их либо совершить что-нибудь еще худшее. Мы поступим неправильно, учредив театр; мы поступим неправильно, поддерживая его существование; мы поступим неправильно, уничтожив его: после первой ошибки, нам останется только один выбор — выбор меньшего из зол.

Как! Значит, в республике вовсе не нужны зрелища? Напротив, они там очень нужны. В республиках они родились, на лоне их они процветают во всем своем праздничном блеске. Каким народам больше всего пристало часто собираться и связывать в своей среде сладкие узы радости и веселья, как не тем, у которых столько оснований для взаимной любви и вечной дружбы? У нас уже есть несколько таких публичных празднеств; заведем еще больше, я буду в восторге. Но не будем переносить к себе этих зрелищ для немногих, зрелищ, замыкающих маленькую группку людей в темном логове, где они сидят, испуганные и неподвижные, в молчании и бездействии, зрелищ, где кругом видишь одни только стены, да острия шпага, да солдат, да печальные картины неравенства и рабства. Нет, счастливые народы, такие празднества не для вас! Под открытым небом, на воздухе — вот где должны вы собираться,

упиваясь сладостным ощущением своего счастья. Пусть удовольствия ваши не будут ни изнеживающими, ни купленными за деньги; пусть не отравляет их ничто, отмеченное принуждением и мыслью о наживе; пусть они будут свободными и бескорыстными, как вы; пусть солнце озаряет ваши невинные зрелища; вы сами будете представлять самое достойное зрелище, какое оно только может озарить.

Но что же послужит сюжетом для этих зрелищ? Что будут там показывать? Если хотите — ничего. В условиях свободы, где ни соберется толпа, всюду царит радость жизни. Воткните посреди людной площади украшенный цветами шест, соберите вокруг него народ — вот вам и празднество. Или еще лучше: вовлеките зрителей в зрелище; сделайте их самих актерами; устройте так, чтобы каждый узнавал и любил себя в других и чтоб все сплотилось от этого еще тесней. Мне нет надобности напоминать об играх древних греков: есть примеры, более близкие к современности, есть и такие, которые существуют в настоящее время — и как раз в нашей среде. У нас каждый год бывают смотры, публичные состязания; каждый год появляются короли аркебузы, пушки, гребли. Невозможно превысить меру, умножая столь полезные<sup>1</sup> и приятные начинания;

---

<sup>1</sup> Народу недостаточно иметь хлеб и жить в достатке. Надо еще, чтоб ему жилось приятно; тогда он будет лучше исполнять свои обязанности, меньше мучиться мыслью о том, как бы их облегчить, и общественный строй станет более прочным. Добрые нравы в гораздо большей степени, чем это принято думать, зависят от того, по нраву ли каждому его положение. Происки и дух интриги порождаются тревогой и недовольством, все идет вкривь и вкось, когда один стремится встать на место другого. Только любя свое дело, можно делать его как следует. Положение государства твердо и прочно лишь при условии, если все, чувствуя себя на своем месте, дружными усилиями содействуют обществу благополучию, вместо того чтобы растрачивать эти усилия во взаимной борьбе, как это наблюдается в каждом плохо организованном государстве. Учтывая это обстоятельство, что приходится думать о тех, кто лишил народ празднеств, удовольствий и каких бы то ни было развлечений — на том основании, что все это отвлекает его от работы? Это утверждение — варварское и ложное. Очень скверно, если у народа есть время только на то, чтобы добывать хлеб насущный; ему нужно еще время на то, чтобы этот хлеб с удовольствием есть, в противном случае он недолго будет его добывать. Правый и милосердый господин, желая, чтобы народ трудился, хочет также, чтоб он восстанавливал свои силы: природа требует от него в равной мере, чтоб он предавался деятельности и покою, удовольствиям и труду в поте лица. Постылость труда удручает несчастных больше, чем самый труд. Вы хотите сделать народ деятельным и трудолюбивым? Дайте ему празднества, устройте ему развлечения, побуждающие его любить свое занятие, и отнимите у него повод желать другого, более легкого. Дни, на это потраченные, научат лучше ценить остальные. Руководите его увеселениями, чтоб удерживать их в рамках благонравности: вот настоящий способ воодушевить его к труду. (*Прим. Руссо.*)



невозможно, чтоб такие корэли оказались лишними. Почему бы нам, для бодрости духа и укрепления мышц, не действовать так же, как в отношении искусства владеть оружием? Разве Республика меньше нуждается в рабочих, чем в солдатах? Почему бы нам не учредить, наподобие военных наград, также награды гимнастические — по борьбе, бегу, метанию диска, по всяким видам физических упражнений? Почему бы нам не чувствовать победителей в лодочных гонках на озере? Можно ли представить себе более блестящее зрелище, чем сотни красиво оснащенных лодок, выстроившихся на этом великолепном, огромном водном пространстве и по сигналу дружно срывающихся с мест, чтобы захватить водруженное у конечной меты знамя, а потом включиться в триумфальную процессию победителя, возвращающегося обратно для получения заслуженного приза? Все такого рода празднества можно обставлять смотря по имеющимся средствам, и достаточным украшением их является многолюдность. Но нужно побывать на них в Женеве, чтобы понять, как увлекаются ими женевские жители. Их тут просто узнать нельзя: это уже не прежний сдержанный, расчетливый народ, никогда не позволяющий себе выйти из рамок бюджета; не медлительный резонер, взвешивающий решительно все, вплоть до шутки, на весах трезвого рассудка. Теперь он оживлен, весел, приветлив; теперь у каждого сердце во взгляде, подобно тому как оно у него всегда на устах; каждый хочет поделиться своей радостью, удовольствием с другим; каждый зовет к себе, настаивает, заставляет подойти и сесть рядом, оспаривает вновь вошедшего у других. Все компании сливаются в одно, все становится общим. Почти безразлично, за какой столик ни сесть. Картина совсем такая, как в Лакедемонне, если не считать некоторого царящего здесь избытка. Но самый избыток этот вполне уместен, и вид изобилия делает еще дороже создавшую его свободу.

Зима, время, посвященное для личного общения друзей, меньше подходит для общественных празднеств. Но есть один вид этих празднеств, которого, по-моему, не следовало бы так избегать: я говорю о балах для молодых людей обоего пола, достигших брачного возраста. Я никогда не мог взять в толк, почему танцы и сборища, с ними связанные, внушают столько опасений: как будто танцевать хуже, чем петь, как будто оба эти удовольствия не внушаются в равной мере природой и есть что-нибудь преступное в том, чтобы люди, намеревающиеся сочетаться браком, вместе веселились, проводя время в пристойных забавах. Мужчины и женщины созданы друг для друга. Бог желает, чтобы они исполнили свое предназначение, — и, конечно, первой и самой святой из всех общественных связей является брак. Все ложные религии попирают природу; только

наша, которая ей следует и ею руководит, объявляет брак установлением божественным, соответствующим природе человека. Она не должна воздвигать перед браком, в придачу к помехам гражданского характера, препятствий, не требуемых Евангелием и осуждаемых всеми разумными правительствами. Но пусть мне укажут, где молодые люди брачного возраста могут друг другу понравиться и встречаться в более приличной и достойной обстановке, чем в собрании, под пристальным взглядом публики, заставляющим их держаться как можно более сдержанно, скромно, тщательнейшим образом следя за собой. Какая обида богу может быть в приятных и полезных для здоровья телодвижениях, отвечающих живому характеру молодежи и состоящих в грациозном и благопристойном показывании себя друг другу, причем присутствие зрителей исключает возможность какой бы то ни было вольности? Можно ли придумать более честный способ, устраняющий всякий обман, по крайней мере в отношении внешних качеств, и выставляющий на вид как наши привлекательные свойства, так и недостатки перед людьми, заинтересованными в том, чтобы нас узнать, прежде чем взять на себя обязанность любить? Не предполагает ли долг нежной привязанности друг к другу много долга: долга друг другу понравиться, и разве не является заботой, достойной двух добродетельных и христианских душ, желающих соединиться, подготовить таким путем сердца свои к взаимной любви, которую предписывает им господь?

А что происходит там, где господствует вечное стеснение, где самое невинное веселье карается как преступление, где молодые люди обоего пола не смеют встречаться открыто и где неумеренная строгость пастора способна проповедовать во имя господне только рабскую покорность, и печаль, и уныние? Невыносимую тиранию, против которой восстают природа и разум, стараются обойти. Лишая резвую, жизнерадостную молодежь дозволенных удовольствий, заставляют ее прибегать к более опасным. На смену общественным собраниям приходят ловко устроенные встречи с глазу на глаз. Кто вынужден все время прятаться, как виноватый, тот мало-помалу невольно становится им. Невинная радость любит растрачиваться при свете дня; а порок дружен с мраком, и никогда невинность и тайна не уживаются долго вместе.

Что до меня, то я не только не порицаю этих простых удовольствий, но, напротив, желал бы их публичного одобрения, чтобы предупредить возможность какого бы то ни было распутства, периодически устраивая торжественные балы с открытым доступом для всей молодежи брачного возраста без исключения. Я желал бы, чтобы назначенное советом должностное

лицо<sup>1</sup> удостаивало эти балы своего руководства. Я желал бы, чтобы на них присутствовали отцы и матери, наблюдая за детьми, любуясь их грацией и ловкостью, радуясь рукоплесканиям, ими заслуженным, и в результате всего этого наслаждаясь самым сладостным зрелищем, какое только может тронуть родительское сердце. Я желал бы, чтобы в число зрителей и судей допускались вообще все женатые и замужние, однако, без разрешения ронять достоинство брака собственным участием в танцах: ибо с какой же пристойной целью могли бы они выставлять себя таким образом перед всеми? Я желал бы, чтобы в зале отводили удобное, огороженное почетное место для пожилых людей обоего пола, которые, уже дав родине граждан, смотрели, как готовятся стать гражданами внуки. Я желал бы, чтобы никто не входил и не уходил, не поклонившись этому синклиту, и чтобы молодые пары, перед началом каждого танца и после его окончания, делали ему глубокий реверанс, с ранних лет приобретая привычку уважать старость. Не сомневаюсь, что эта приятная встреча начала человеческой жизни с ее концом придаст подобному собранию какой-то умилительный оттенок и что у членов синклита блеснут иной раз слезы радости и воспоминанья, вызвав, может быть, таковые же и у чувствительного зрителя. Я желал бы, чтобы каждый год, на последнем балу, молодая девушка, отличавшаяся на балах этого года достойным и скромным поведением и, по мнению синклита, особенно всем понравившаяся, награждалась венком, возлагаемым на нее сеньором-комми, и званием королевы бала, которое оставалось бы за ней на весь следующий год. Я желал бы, чтоб по окончании этого бала ее провожали домой торжественной процессией, чтобы ее родителей приветствовали и благодарили за то, что они родили и воспитали такую дочь. Наконец, я желал бы, чтобы, в случае ее выхода замуж в течение года, Сеньория делала бы ей подарок или отмечала ее какой-нибудь наградой, придавая этому почетному званию такую важность, которая исключала бы всякую возможность делать его предметом шуток.

Правда, тут нередко можно было бы опасаться известного пристрастия, если бы возраст судей не обеспечивал преиму-

---

<sup>1</sup> В каждой корпорации, каждом союзе, из которых состоит наше государство, председательствует такое должностное лицо,— так называемый «Сеньор-комми». Он участвует во всех собраниях и даже пирушках. Присутствие его не нарушает благопристойной непринужденности между членами данного объединения. Но оно удерживает всех в границах уважения к законам, правам, приличиям, которое должно соблюдать, даже предаваясь радости и веселью. Это превосходный обычай; он составляет одну из важных связей между народом и его руководителями. (Прим. Руссо.)

щества подлинным заслугам; да и какая беда, если бы даже иной раз поощрение получила скромная красота? Разве, подвигаясь бóльшим агакам, она не нуждается и в бóльшей поддержке? Разве она — не дар природы, такой же как талант? Что плохого в том, что ей воздадут известные почести, которые заставят ее стремиться быть достойной их и удовлетворят ее самолюбие, не вредя добродетели?

Улучшая этот проект с точки зрения тех же самых задач, можно было бы, под предлогом ухаживания и развлечения, поставить перед этим празднеством некоторые полезные цели, которые сделали бы их важным средством поддержания порядка и добрых нравов. Располагая надежными и пристойными местами встреч, молодежь будет испытывать меньше соблазна искать других, более опасных. Каждый пол в промежутках будет с бóльшим терпением отдаваться занятиям и удовольствиям, ему свойственным, и легче утешаться в недостатке постоянного общения с другим. Частные лица любого сословия получат возможность приятного зрелища, особенно отцы и матери. Хлопоты о том, как бы получше нарядить дочь, стали бы для женщин забавой, отвлекающей их от многих других; а сам наряд, имеющий цель невинную и похвальную, здесь был бы вполне уместным. Эти поводы для общих встреч и устройства браков стали бы распространенным средством сближения враждующих семейств и укрепления столь необходимого нашему государству мира. Не умаляя авторитета отцов, стремления детей получили бы несколько больше свободы; первый выбор стал бы немного больше зависеть от их сердечной склонности; с соответствием возраста, нрава, вкуса, характера начали бы считаться немного больше; меньше значения стали бы придавать соответствиям звания и богатства, которые ведут к неудачным союзам, когда руководятся только ими, в ущерб всему остальному. Легче стало бы завязывать отношения, и браки участились бы; менее ограниченные указанными условиями, браки эти, предупреждая возникновение враждующих партий, смягчая чрезмерное неравенство, помогали бы всему народу в целом соблюдать дух его конституции. Эти балы, таким образом направляемые, походили бы не столько на общественное собрание, сколько на большой семейный праздник, и на лоне общей радости и веселья рождались бы безопасность, согласие и процветание Республики<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Я люблю иногда вообразить, какое мнение о моих вкусах составят себе иные на основе моих сочинений. По поводу данного, конечно, будут говорить: «Этот человек без ума от танцев». А мне скучно смотреть на них. «Он терпеть не может театра». А я люблю его до безумия. «Он ненавидит женщин». В этом меня нетрудно оправдать. «Он недоволен актерами». У меня полное основание гордиться ими, и дружба единст-

На этих основах было бы нетрудно устраивать больше дешевых и безопасных зрелищ, чем нужно, чтобы сделать пребывание в нашем городе приятным и радостным — даже для иностранцев, которые, не находя ничего похожего в других местах, приезжали бы сюда хотя бы затем, чтобы посмотреть на нечто, единственное в своем роде. Но, говоря откровенно, я, по многим серьезным причинам, вижу в этих наездах скорей неудобство, нежели преимущество; и глубоко убежден, что в Женеву не приезжало еще такого иностранца, который не сделал бы ей больше зла, чем добра \*.

А знаете, сударь, кого нужно бы стараться привлекать и удерживать у нас в городе? Своих женеvцев, которые, при всей их искренней любви к родному краю, испытывают такую тягу к странствиям, что нет такого места в мире, где бы их нельзя было встретить. Половина наших граждан, рассеянных по всей

---

венного из них \*, которого я лично знал, может быть только лестной для порядочного человека. Таково же суждение о поэтах, чьи пьесы я вынужден критиковать: умершие мне, мол, не по вкусу, а на живых я в обиде. В действительности же я очарован Расином и не пропустил по своей воле ни одного представления Мольера. Если я меньше упоминал о Корнеле, так потому, что редко бывал на его пьесах, не имею их под рукой и слишком плохо помню, чтобы цитировать. Что же касается автора «Атрея» и «Катилины», то я видел его только раз, и притом в связи с одной услугой, которую он мне оказал \*. Я ценю его талант и уважаю его старость; но с каким бы почтением я ни относился к нему самому, к пьесам его я должен быть только беспристрастным; платить же долги свои за счет общественного блага и истины не умею. Если мои сочинения вызывают во мне известную гордость, то лишь благодаря чистоте намерений, их диктовавших, благодаря бескорыстию, пример которого дали мне лишь немногие авторы и которому лишь очень немногие захотят подражать. Никогда ни одно побуждение личного характера не примешивалось к желанию быть полезным ближнему, вложившему мне перо в руку, и почти всегда я писал против собственных интересов. *Vitam impendere vero*<sup>1</sup> — вот девиз, выбранный мной, которого я чувствую себя достойным. Читатели, я могу заблуждаться, но не вводить вас намеренно в заблуждение; опасайтесь моих ошибок, но не моего злого умысла. Любовь к общественному благу — вот единственная страсть, заставляющая меня обращаться к публике; тут я умею забывать о себе, и если кто-нибудь оскорбил меня, я молчу о нем из боязни, как бы гнев не толкнул меня на несправедливость. Это правило выгодно моим врагам, так как они могут вредить мне, как им вздумается, не боясь возмездия, выгодно тем читателям, которым не приходится бояться, что моя ненависть искажает истину, и особенно выгодно мне, так как, спокойно относясь к обидам, я по крайней мере испытываю лишь причиняемое мне зло, не зная того, которое испытал бы, отвечая на него тем же. Святая и неподкупная истина, ты, которой я посвятил всю свою жизнь, — нет, никогда пристрастие не оскверняло моей беззаветной любви к тебе; ни корысть, ни страх не запятнают моего восторженного преклонения перед тобой, и никогда перо мое не откажет тебе ни в чем, кроме того, что оно считает уступкой чувству мести. (Прим. Руссо.)

<sup>1</sup> «...за правду пожертвовать жизнью» (Ювенал, Сатиры, IV, 91).

Европе и по всему свету, живут и умирают вдали от родины; и тут я назвал бы самого себя с особенной горечью, если бы не был до такой степени ей ненужен \*. Я знаю, что мы вынуждены искать в чужих краях средства к жизни, в которых наша земля нам отказывает, и что нам было бы трудно просуществовать, не покидая ее; но пусть по крайней мере изгнание это не будет вечным для всех. Пусть те, чьи труды благословило небо, возвращаются, подобно пчеле, с добычей в свой улей, чтобы порадовать сограждан зрелищем своего довольства, возбудить в молодых людях дух соревнования, обогатить родной край своим богатством и скромно пользоваться у себя в доме добром, честно нажитым среди чужих. Уж не театрами ли, которые у нас будут худшего качества, чем в других местах, заставим мы их возвратиться? Станут ли они отказываться от театральных зрелищ Парижа или Лондона, чтобы любоваться женевскими? Нет, нет, сударь, не этим способом можно привлечь их обратно. Надо, чтоб каждый понимал, что нигде не найдет того, что оставил в родном краю; надо, чтоб неодолимо очарование влекло его к местам, которых ему не следовало покидать; надо, чтобы воспоминания о первых состязаниях, первых празднествах, первых радостях были глубоко запечатлены в их сердцах; надо, чтоб сладостные впечатления юности сохранялись и с возрастом усиливались, а тысячи других исчезали; надо, чтоб среди роскоши больших государств и их унылого великолепия тайный голос в глубине души непрестанно кричал им: «Ах, где игры и празднества моей юности? Где согласие граждан? Где общее братство? Где чистая радость и подлинное веселье? Где мир, справедливость, свобода, невинность? Пойдем отыщем опять все это». Господи боже! При таком сердце, как у женева, таком прелестном городе, таком очаровательном крае, таком великоприятном правлении, таких неподдельных, чистых наслаждений и всем необходимым для того, чтоб уметь ими пользоваться,— что же мешает нам всем до одного обожать свою родину?

Так звала обратно своих граждан, при помощи скромных празднеств и лишенных особого блеска игр, та самая Спарта, которую я могу без конца ставить в пример нам. Так в Афинах, среди изящных искусств, в Сузах \*, на лоне изнеженности и роскоши, спартанец, тоскуя, вадыхал о своих грубых пирах и утомительных телесных упражнениях. Именно в Спарте, на досуге, полном деятельности, все было наслаждение и зрелище; именно там самая тяжелая работа считалась развлечением, а любая минута отдыха служила для просвещения народа; именно там граждане, находясь постоянно вместе, посвящали всю свою жизнь забавам, составлявшим важное государственное дело, и играм, прерываемым только для войны.

Я уже слышу, как шутники меня спрашивают, не собираюсь ли я, среди прочих поучительных чудес, ввести на наших жене-вских празднествах танцы молодых лакедемонянок? \* Отвечаю: я очень хотел бы считать, что глаза и сердца наши достаточно чисты для такого зрелища и что молодые девушки и в Женеве, как было в Спарте, находятся под защитой чувства общественного приличия; но при всем моем уважении к моим соотечественникам я слишком хорошо знаю, какое расстояние отделяет их от лакедемонян, и предлагаю им лишь те из лакедемонских обычаев, к восприятию которых они еще не утратили способности. Если данный обычай уже взял под свою защиту мудрый Плутарх, зачем мне повторять уже сделанное? Довольно сказать, что обычай этот подходит лишь для воспитанников Ликурга, что только их умеренный и трудовой образ жизни, их чистые и суровые нравы, свойственная им твердость духа могли сделать в их глазах невинным зрелище столь неприемлемое с точки зрения любого народа, обладающего одним лишь чувством приличия.

Но, в сущности, можно ли думать, что хитрые наряды наших женщин менее опасны, чем полная обнаженность, первое воздействие которой, в силу привычки, скоро сменилось бы равнодушием, а то и отвращением? Разве не известно, что статуи и картины оскорбляют взгляд только в тех случаях, когда подчеркивание при помощи одежд делает наготу непристойной? Сила чувственных восприятий сама по себе слаба и ограничена: только участие воображения наделяет их разрушительной силой; это оно хлопочет о том, как бы раздражить желания, придав их предмету еще больше прелести, чем его наделила природа; это оно открывает взгляду, к вящему соблазну, то, в чем он видит уже не простую наготу, но нечто, требующее покрова. Нет такой скромной одежды, сквозь которую не проникли бы желания с помощью воспаленного воображением взгляда. Молодая китаянка, высунув из-под одежды кончик спрятанной и обутой ножки, наделает в Пекине больше бед, чем могла бы это сделать самая красивая в мире девушка, танцующая совершенно голой у подножия Тайгета \*. Но когда одеваются с таким искусством и такой нескромностью, как теперешние женщины, когда показывают немного, чтобы заставить желать большего, когда препятствие, создаваемое для глаз, имеет целью сильней разжигать воображение, когда одну часть предмета прячут для того, чтобы привлечь внимание к другой его части, которая выставлена напоказ, тогда

Neu! male tum mites defendit pampinus uvas<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Горе! Худо лоза защитит поспевшие гроздья!»  
(Вергилий, Георгики, I, 448.) (Перев. С. В. Шервинского.)

Но довольно отступлений. Вот, слава богу, последнее. Кончаю свое письмо. Я приводил празднества Лакедемонии как образец для тех, которые хотели бы видеть у нас. Не только благодаря своей цели, но и простотой своей они заслуживают подражания: устраиваемые без пышности, без роскоши, без всяких приготовлений, проникнутые скрытым очарованием патриотизма, делавшего их столь привлекательными, они были полны какого-то воинственного духа, который пристал людям свободным<sup>1</sup>. Не имея ни дел, ни развлечений, по крайней мере в нашем смысле слова, люди эти проводили в приятном одно-

---

<sup>1</sup> Помню, как поразило меня в детстве зрелище довольно незатейливое, но оставившее в душе моей след, которого не могли стереть ни время, ни множество разнообразных впечатлений. Полк, стоявший в Сен-Жерве, вечером кончил учения и как обычно отужинал в своих ротах. После ужина большая часть военных собрались на площади Сен-Жерве; они принялись плясать все вместе, офицеры и солдаты, вокруг фонтана, на который взобрались барабанщики, флейтисты и те, кто держал факелы. Танец людей, веселящихся после продолжительного ужина, не должен бы, казалось, представлять ничего особенно интересного; однако согласные движения пятисот — шестисот человек в одинаковом мундире, взявшихся за руки и составивших длинную вереницу, покачивающуюся и извивающуюся без малейшего нарушения ритма, образуя тысячи петель и фигур, подбор мелодий, их оживлявших, грохот барабанов, сияние факелов, оттенок военной выправки в самой непринужденности наслаждения, — все это производило самое подзадоривающее впечатление, к которому невозможно было отнестись хладнокровно. Время было позднее, женщины уже легли, но тут опять встали. Скоро окна наполнились зрительницами, вызвавшими новый прилив энергии у танцующих. Но недолго женщины оставались в роли зрительниц; они высыпали на площадь; хозяйки подошли к мужьям, служанки принесли вина, даже дети, разбуженные шумом, прибежали полуодетые к родителям. Танец прервался; кругом — сплошь поцелуи, смех, здравицы, объятия. Вся картина вызвала умиление, которого я не могу передать, но которое знакомо всем, кому случалось переживать минуты общей радости среди всего, что нам дорого. Отец мой, целуя меня, дрожал, и я, кажется, до сих пор чувствую и разделяю эту дрожь. «Жан-Жак, — сказал он мне, — люби свою страну. Видишь этих добрых женецев? Они все друзья, все братья, радость и согласие царят среди них. Ты — женевец, а придет время — увидишь другие народы. Но, даже побродив по свету с мое, нигде не найдешь таких, как они».

Попробовали было возобновить танец, но не было никакой возможности: никто не понимал, что делается, все чувствовали головокружение, более приятное, чем от вина. Через некоторое время, пролетевшее в смехе и разговорах на площади, пришла пора расходиться; каждый спокойно ушел со своими близкими. Таким-то образом эти милые и благо-разумные женщины увели мужей домой, не нарушив их веселья, а разделив его. Прекрасно понимаю, что это зрелище, так меня растрогавшее, не могло оставить равнодушным тысячи других людей: надо иметь глаза, способные видеть такие вещи, и сердце, способное их чувствовать. Да, чистой радостью может быть только радость общая, и подлинные естественные чувства царят только среди народа. Ах, знатность, дочь гордости и мать скуки, случалось ли жалким рабам твоим хоть раз в жизни переживать подобные мгновенья?



образия целый день, не находя его слишком длинным, и всю жизнь, не находя ее слишком короткой. Каждый вечер, бодрые и веселые, возвращались они домой и садились за скромный ужин, довольные своей родиной, своими согражданами и самими собой. Если нужен образчик таких общественных развлечений, то вот один, сообщенный Плутархом. Было всегда три группы, говорит он, исполнявшие каждая свой танец, в зависимости от возраста, сопровождаемая пением. Танец начинали старики, запевая:

Встарь любой из нас умел  
Бить врага — и юн и смел.

За ними вступали мужи, в свою очередь певшие, стуча в такт оружием:

Мы сменили вас теперь:  
Сунься только враг в дверь!

Им отвечали мальчики, распевая что есть мочи:

А вот скоро мы придем, —  
Сразу всех вас превзойдем.

Вот, сударь, какие зрелища нужны республикам. Что же касается тех, которые ваша статья «Женева» вынудила меня в этом очерке обсуждать, то, если частный интерес и добьется когда-нибудь их учреждения в нашем городе, — я предвижу от этого печальные последствия; я привел некоторые из них, мог бы привести больше; но это значило бы слишком бояться воображаемого несчастья, которое бдительность наших правителей сумеет предотвратить. Я не имею претензии поучать людей более мудрых, чем я. С меня довольно того, что я сказал достаточно в утешение моим молодым соотечественникам, лишенным удовольствия, которое дорого обошлось бы их родине. Заклинаю эту счастливую молодежь прислушаться к отзыву, которым кончается ваша статья \*. Пусть эта молодежь познает свое назначение и будет достойной его! Пусть она всегда чувствует, насколько прочное счастье предпочтительней суетных удовольствий, которые его разрушают! Пусть она передаст своим потомкам добродетели, свободу, мир, доставшиеся ей от предков! Это — последнее пожелание, которым я завершаю свой писательский труд, которым завершится и моя жизнь \*.

изведениях Руссо, имя английского философа-материалиста *Бекона* (1561—1626) — единственный только раз в «Рассуждении о науках и искусствах». Здесь, несомненно, сказалось влияние Дидро, который считал Бекона своим учителем. В проспекте «Энциклопедии» он писал: «Если нам удалось успешно выполнить это дело, то этим мы обязаны главным образом канцлеру Бекону».

*Князь красноречия стал римским консулом...*— Имеется в виду Цицерон (106—43 до н. э.), который был в 63 г. до н. э. избран римским консулом.

*...и едва ли не величайший из философов — канцлером Англии.*— Речь идет об английском философе Беконе.

Стр. 64. *...славное различие, когда-то замеченное между двумя великими народами...*— Имеются в виду Афины и Спарта. Пример взят у Монтеня (см. прим. на стр. 49).

### ПИСЬМО К Д'АЛАМБЕРУ О ЗРЕЛИЩАХ

«Письмо к д'Аламберу» было написано Руссо во время пребывания его в Монморанси, в течение трех недель и закончено в начале марта 1758 г. Оно явилось ответом на статью д'Аламбера о Женеве, помещенную в VII томе «Энциклопедии». Описывая общественное устройство Женевы, ее религию, нравы и обычаи, д'Аламбер выражал удивление, что в Женеве запрещены театральные представления, и призывал открыть театр. Тема театра возникла в статье д'Аламбера не без влияния Вольтера, который в то время вел энергичную борьбу с женевскими пасторами за организацию театральных представлений на территории республики Кальвина. Участие Вольтера в статье о Женеве не вызвало у Руссо никаких сомнений («Я знаю,— писал он Верну,— что статья «Женева» написана в значительной части г-ном де Вольтером»), и, выступая против д'Аламбера, он имел в виду и Вольтера, отношения с которым у него к этому времени были уже достаточно обострены. Дело, разумеется, заключается не в личной неприязни Руссо к Вольтеру, а в принципиальных разногласиях его со всей «философской партией». Среди этих разногласий немаловажное место занимали и вопросы искусства.

Поборники прогресса и просвещения, французские энциклопедисты видели в искусстве и в особенности в театре трибуну для пропаганды новых идей, могучее средство воспитания нового человека. Взгляд Руссо на искусство совершенно иной: искусство для него порождение враждебной народу цивилизации, глубоко порочной и ложной. Уже в «Рассуждении о науках и искусствах» Руссо писал о том, что искусство обвиняет гирляндами цветов цепи рабства и гнета, которые влачат люди, заглушает в них естественный голос свободы, является причиной упадка нравов или во всяком случае неизбежно сопутствует ему. Эти мотивы получили дальнейшее развитие в «Письме о зрелищах»:

театр, утверждает Руссо, может только развратить патриархальные нравы Швейцарии, погубить добродетель ее граждан.

«Письмо к д'Аламберу», однако, не простое повторение первого трактата. Свой тезис о пагубном воздействии театра Руссо обосновывает теперь по-иному — он исходит не только из противоречий общественного прогресса, как в «Рассуждении о науках и искусствах», но и из содержания самого искусства, природы художественного образа и эстетического переживания. «Письмо к д'Аламберу» стало поэтому важным документом эстетической мысли XVIII столетия.

В «Письме к д'Аламберу» отразились не только серьезные разногласия Руссо с другими просветителями XVIII в., но и их глубокое внутреннее единство, пронизывающее из общей борьбы против реакционных сил старого порядка, его идеологии, эстетики и искусства. Подобно другим просветителям, Руссо подвергает критике театр классицизма и манерное аристократическое искусство рококо, утратившее большое общественное содержание и нравственный пафос, — искусство, далекое от жизни и интересов демократического зрителя. Можно обнаружить даже прямые соответствия между тем, что говорит Руссо, и тем, что писали на ту же тему другие просветители (например, критика трагедий Кребильона у Руссо и Вольтера или характеристика французской живописи у Руссо и Дидро).

О социальном смысле нападок Руссо на театр очень хорошо сказал ученик его Мерсье: «Он объявил войну нашему театру, потому что тот походил на наше правительство: на сцене его фигурировали лишь короли, изъясняясь странною речью; в комедии легкомысленно трактовались серьезные предметы... Его сочинение о зрелищах говорит о том, что национальная трагедия принадлежит лишь свободному народу, в то время как наши театральные произведения отзываются школой рабства; одни лишь принцы и вельможи занимают собой сцену да маркизы выставляют напоказ свою высокомерную спесь и свой жаргон распутников».

Связь Руссо с эстетикой Просвещения особенно ощутима в его суждениях о Мольере, занимающих столь большое место в «Письме о зрелищах». Пьесы даже «самого лучшего из комедиографов» в глазах Руссо всего лишь «школа порока». В духе эстетики всего Просвещения Руссо считает, что одного осмеяния порока еще недостаточно, и требует возвеличения добродетели, некоего положительного примера. Именно потому, что такой положительный пример в комедиях Мольера отсутствует, Руссо считает его писателем недостаточно нравственным. «Он осмеивал порок, но не научил нас любить добродетель». В пьесах Мольера Руссо возмущает и то, что буржуа в них всегда выглядит смешным и одураченным, а не носителем положительных идеалов, добродетельным отцом семейства. Накал классовой борьбы в XVIII в. требовал прямой и открытой защиты человека третьего сословия, резкого обличения дворянства. У Мольера же глупость буржуа есть как бы косвенное оправдание безнравственности дворянина. Руссо поэтому берет под свою защиту Журдена, Жоржа Дандена, даже Гарпагона.

Но больше всего Руссо не может простить Мольеру «Мизантропа» — комедии, в которой единственный благородный герой мольеровского театра Альцест показан смешным. В Альцесте Руссо видит протестанта, потенциального врага старого порядка, прямого предшественника революционера XVIII в. Он хотел бы, чтобы Мольер изобразил своего героя в духе эстетики буржуазного классицизма — идеальным гражданином, забывающим самого себя, стойчески переносящим личные невзгоды и думающим только о человечестве. Предмет стремлений истинного героя, писал Руссо, «составляет счастье людей, и этому возвышенному труду он посвящает свою великую душу» (см. статью «Какая добродетель более всего нужна героям и каковы герои, у которых эта добродетель отсутствует»).

Эта тенденция эстетики Руссо, предвосхищающая классицизм эпохи революции, сказалась в критическом отношении Руссо к жанру слезной комедии и в высокой оценке римских трагедий Вольтера, привлекающих его образом героя-гражданина, беззаветно преданного делу свободы. Руссо выражает желание, чтобы для будущего истинно народного театра Вольтер писал бы трагедии по образцу «Смерти Цезаря» и первого акта «Брута». Пафос героической добродетели определяет отрицательное отношение Руссо и к изображению любви на сцене — по его мнению, главной теме французского театра. Любовь, считает Руссо, расслабляет душу, делает человека неспособным к героическим деяниям, даже к простому выполнению гражданских обязанностей.

Известное единство между эстетикой Руссо и взглядами на искусство других просветителей не исключает глубокого различия между ними. Это различие прежде всего проистекает из революционного максимализма Жан-Жака, выражающего некоторые тенденции эстетики Просвещения в наиболее крайней форме. Считая, подобно Вольтеру и Дидро, что искусство должно быть «школой добродетели», Руссо пытается протянуть прямой мост от искусства к действительности, от красоты к морали. Но стремление отождествить эстетическое и моральное, прекрасное и действительное заставляет Руссо особенно остро ощущать различие, существующее между ними.

В отличие от других просветителей, которые в самом существе искусства и природе художественного изображения и эстетического переживания видели силу, способную воспитать общественного человека, Руссо гораздо более скептичен по отношению к моральным возможностям искусства. Оно для него есть некий иллюзорный мир, у которого «свои правила, свои принципы, свой язык и одежда». Эстетическое наслаждение, которое доставляет театр, основывается, по Руссо, на понимании условности того, что происходит на сцене. Вот почему так ничтожно моральное воздействие пьесы, проникнутой даже самой возвышенной моралью, — по мысли Руссо так же невозможно подражать добродетели театрального героя, как говорить стихами или носить одеяние древних римлян. Конечно, театр часто вызывает слезы у зрителя, учит состраданию, но поскольку искусство всего лишь обманчивая ил-

люзия, такое сострадание бесплодно, «оно удовлетворяется несколькими слезами, но не подвигнет никого даже на малейшее проявление человеколюбия». Плачущий в театре злодей, умилявший Дидро, вызывает лишь гнев и возмущение Жан-Жака, — слишком легкой ценой он удовлетворяет стремление к добру, заложенное в сердце каждого человека.

В основе отрицания морального воздействия искусства лежит все тот же революционный максимализм Руссо. Разбирая вольтеровского «Магомета», Руссо восклицает: «Надо отложить в сторону философию, взять в руки меч и покарать лжецов».

В «Письме к д'Аламберу», как и в других сочинениях Руссо, проявилась присущая ему диалектика, способность обнаружить противоречия изучаемого предмета. Руссо поэтому смог нащупать слабое место учения просветителей об искусстве, не всегда видевших различие между эстетикой и моралью, правдой искусства и правдой жизни. Не умея понять диалектическое единство этих категорий, мысль Руссо останавливается перед неразрешимыми противоречиями.

Рассматривая искусство как царство эстетической видимости, не имеющее прямого касательства к жизни, Руссо в эстетике, как и в морали, в чем-то уже предвосхищает Канта, у которого этика и эстетика окончательно размежевались.

«Письмо к д'Аламберу» было опубликовано в Амстердаме в 1758 г. Через год вышло второе издание «Письма», в 1762 г. — третье. В издание 1762 г. Руссо внес ряд исправлений. Некоторые изменения содержит текст «Письма к д'Аламберу», опубликованный в Женевском издании Собрания сочинений Руссо 1782 г. Это издание было осуществлено уже после смерти Руссо, но по материалам, подготовленным им. Изменения, содержащиеся в тексте изд. 1782 г., отмечены в примечаниях.

«Письмо к д'Аламберу» имело большой общественный резонанс. В Женеве его приняли довольно холодно. Слишком далеким от действительности был тот портрет Женевы, который рисовал Руссо в своем сочинении, — он скорее напоминал древнюю Спарту, чем кальвинистскую республику. Женевские нотабли ясно понимали, что критика французской цивилизации, а не защита интересов республики, составляет основной пафос «Письма о зрелищах».

Просветители встретили «Письмо к д'Аламберу» враждебно, оно положило конец дружеским отношениям Руссо с кружком энциклопедистов. Д'Аламбер ответил Руссо личным письмом, вежливым, но язвительным. Мармонтель опубликовал в сентябрьском номере «Французского Меркурия» за 1760 г., так сказать, официальный ответ на «Письмо к д'Аламберу» от лица всей философской партии. Сочинение Мармонтеля было написано в резком тоне и полно личных нападок на Руссо. У просветителей были все основания враждебно относиться к «Письму о зрелищах». Французские клерикалы использовали сочинение Руссо для травли философов, они цитировали Жан-Жака рядом с церковными авторами, писавшими против театра. Это произошло не случайно.

Реакционные черты, составляющие неотъемлемую часть руссоистской критики цивилизации, получили отражение и в «Письме к д'Аламберу», они выразились в отрицании просветительной роли театра. Мелкобуржуазный уравнилельный идеал Руссо был враждебен всякому богатству, в том числе и духовному богатству отдельной человеческой личности. Размах самых возвышенных страстей представляется Руссо опасным для гражданина идеальной республики. Отсюда подозрительное отношение Руссо к чувственной красоте искусства, в котором он видит лишь порождение роскоши и паразитизма имущих классов, отсюда и борьба его против театра. Эта аскетическая сторона идеала Руссо оказалась не безразличной для демократического и революционного содержания его критики цивилизации и современного ему искусства: она ослабляла эту критику, делала ее приемлемой для глубоко ненавистной самому Руссо партии «старого порядка».

Стр. 65. *Жан-Жак Руссо гражданин Женевы г-ну д'Аламберу, члену Французской Академии, Королевской Академии наук в Париже... и Болонского Института.*— Противопоставленные многочисленным титулам д'Аламбера слова «гражданин Женевы» приобретают особую весомость и значимость. Это отвечает основной мысли Руссо — противопоставить завоевания европейской цивилизации простоту и патриархальность нравов Женевской республики.

*Сам удостоенный его похвал...*— Имеется в виду «Вступительная речь к Энциклопедии», где д'Аламбер, не соглашаясь со многими идеями Руссо, высоко оценивает его талант как писателя.

Стр. 66. *...немало читателей удивится тому рвению, коим он продиктован.*— Намек на то, что тема театра в статье д'Аламбера возникла под влиянием Вольтера, который в то время вел войну с женевскими пасторами за организацию театральных представлений в Женеве.

Стр. 69. *Я хватался за каждую предоставлявшуюся мне возможность отступления в сторону, причем забывал, что, стараясь рассеять свою собственную скуку, быть может, приуготовляю ее для читателя.*— Нечто прямо противоположное пишет Руссо в «Исповеди»: «В этом помещении, в то время обледенелом, не защищенном от ветра и снега, я работал, не согреваемый никаким огнем, кроме огня своего собственного сердца, и в течение трех недель составил свое «Письмо к д'Аламберу о зрелищах». Это было — поскольку «Юлия» была готова только наполовину — первое из моих произведений, работая над которым я испытывал удовольствие».

*У меня был строгий и справедливый Аристарх; у меня его больше нет, и я не хочу другого.*— Аристархом, то есть взыскательным литературным судьей, Руссо называет Дидро, который был его ближайшим другом и советчиком. Последнее произведение, которое Руссо послал на суд Дидро, было начало «Новой Элоизы». После переселения Руссо в Эрмитаж доверие между друзьями было нарушено. Причина разрыва Руссо с Дидро и с другими энциклопедистами — в идейных разногла-

сиях, в той особой позиции, которую занимал Руссо во французском Просвещении. В отношениях Руссо и Дидро сыграли роль также причины личного характера.

*Если ты на друга извлек меч...*— По поводу этого примечания Руссо писал в «Исповеди»: «Я решил вставить в свое сочинение в виде примечания отрывок из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова», полагая, что тогда этот разрыв (разрыв с Дидро.— В. Б.) и даже повод к нему станут совершенно ясными для посвященных, остальные ничего не будут знать».

*С тех пор как я больше не встречаюсь с людьми...*— Очевидно, с момента переезда из Эрмитажа в Монморанси, куда 15 декабря 1757 г. после ссоры с г-жой д'Эпине отправился Руссо по приглашению уполномоченного принца Конде, г-на Мата.

Стр. 70. *...что касается меня, то я больше не существую.*— О своем состоянии во время работы над «Письмом к д'Аламберу» Руссо писал в «Исповеди»: «Я чувствовал себя умирающим и обращался к людям с последним прости».

*Я имею в виду вашу оценку того вероучения, которого придерживаются наши священнослужители.*— Руссо выступил в защиту женевского духовенства. Положение было щекотливое. Д'Аламбер хвалил женевских священнослужителей за их терпимость, за то, что они исповедуют нечто близкое «естественной религии» просветителей, в частности и религии самого Руссо. Он писал: «Уважение к Христу и Священному писанию, быть может, единственное, что отличает христианство Женевы от чистого деизма». Женевское духовенство осталось, однако, недовольно тем, как писал о нем французский философ. Похвалы д'Аламбера таили в себе скрытую критику: изображая женевских пасторов приверженцами деизма, д'Аламбер как бы укавывал им, чем они должны быть. Вот почему Руссо называет похвалы д'Аламбера «вредоносными»; «они задевают положения, интересы, взгляды или предубеждения тех, на кого направлены».

Стр. 71. *Несколько пасторов в Женеве являются, по вашим словам, законченными социнианцами.*— Социнианцы — религиозная секта, которая берет свое название от имени ее основателей Лелио Социна (1525—1562) и его племянника Фауста Социна (1539—1604). Социнианцы отрицали божественность Христа, отвергали церковное учение о первородном грехе, предопределении, защищали свободу воли и совести. Эта секта была осуждена Кальвином. Естественно поэтому, что утверждения д'Аламбера, будто среди женевского духовенства есть приверженцы социнианцев, вызвали протесты со стороны женевских священнослужителей.

Стр. 72. *...а на основании некоторых имеющихся у меня скудных сведений об этой секте и ее основателе испытываю к ней скорее чувство отчуждения, чем симпатии.*— В первом амстердамском издании эта фраза в основном тексте отсутствовала, но была добавлена в конце его, очевидно, по соображениям дипломатического характера. Руссо всячески

стремился подчеркнуть свой разрыв с энциклопедистами, свою связь с Женевой, ее нравами, обычаями, даже предрассудками. В последующих изданиях фраза эта была в основном тексте, однако в издании 1782 г., осуществленном уже после смерти Руссо, но по материалам, им подготовленным, она отсутствовала. Объяснить это можно только тем, что, готовя собрание своих сочинений, Руссо вычеркнул ее, как не отвечающую его истинному отношению к социализму. Трудно предположить, что это сделали женевские издатели.

Стр. 74. *Верне Жакоб* (1698—1789) — один из образованных деятелей протестантской церкви Женевы; много путешествовал, жил во Франции, Италии, Англии, Германии. С 1734 г. пастор в Женеве и профессор изящной словесности, истории и теологии. Оставил ряд сочинений по вопросам теологии: «Трактат об истинности христианской религии» (1730), «Христианское наставление» (1752) и др.

*Сколько народа заботилось о моих религиозных взглядах, обвиняя меня в недостатке веры, не дав себе труда разобраться как следует в моем сердце!*— Часть женевских пасторов враждебно встретила трактат Руссо «О происхождении неравенства», посвященный Женевской республике; Руссо подозревали в атеизме, ему не могли простить близости с Дидро и другими энциклопедистами.

*...на днях они также выступили с публичным заявлением.*— Имеется в виду «Протест пасторов Женевы», опубликованный 10 февраля 1758 г.

Стр. 75. *Аббат Сен-Пьер* (1658—1743) — французский философ, публицист, предшественник просветителей. Наиболее знаменитое его сочинение — «Проект всеобщего мира», где Сен-Пьер выдвигает идею создания всеевропейского арбитражного трибунала, который мирным путем разрешал бы возникающие между государствами конфликты. Руссо взялся дать краткое изложение сочинений Сен-Пьера, рукописи которого были переданы ему племянником аббата. Опубликовал Руссо лишь изложение «Проекта вечного мира».

Стр. 75. *Не буду излагать здесь своих догадок...*— Намек на Вольтера (см. прим. к стр. 66.)

*Из двух знаменитых историков — двух философов, дорогих сердцу д'Аламбера, современный, быть может, согласился бы с ним...*— Речь идет об английском философе и историке Юме (1711—1776). В период работы над «Письмом к д'Аламберу» Руссо лично Юма еще не знал. Их знакомство произошло позднее, в 1765 г. Настороженный тон Руссо по отношению к Юму объясняется дружбой Юма с энциклопедистами.

Стр. 77. *Так, пьесы Менандра, написанные для афинского театра, в римском оказались не ко двору.*— *Менандр* (ок. 343 — ок. 291 до н. э.) — древнегреческий комедиограф, представитель так называемой новоаттической комедии. Говоря о том, что в Риме пьесы Менандра «оказались не ко двору», Руссо имеет в виду переделки этих пьес римским комедиографом Теренцием.



Стр. 78. *Человек, лишенный страстей... никому не интересен, и уже замечено, что стоик в трагедии был бы несносен, а в комедии — самое большее смешон.*— Еще Аристотель учил, что человек, лишенный слабостей и страстей, для роли трагического героя непригоден (Аристотель, Поэтика, 13). Об этом же писал Буало и другие теоретики классицизма (см. Буало, Поэтическое искусство, песня III).

*Лучшее его создание не успело родиться, как уже было обречено на провал.*— Речь идет о «Мизантропе» (1766). Утверждение Руссо не соответствует действительности: «Мизантроп» имел двадцать четыре постановки.

Стр. 79. «*Дикий Арлекин*» — комедия Делиля, впервые представлена в Итальянском театре в 1721 г., в свое время пользовалась популярностью. В образе Арлекина показан человек, близкий к природе, наделенный искренностью, простодушием, здравым смыслом. Комедия Делиля оказалась созвучной идеалам Руссо. В 1906 г. Дюфур опубликовал неизданные фрагменты комедии Руссо «Арлекин, влюбленный поневоле», написанные, очевидно, в 1747—1748 гг.

*...очищение страстей через их возбуждение.*— Имеется в виду учение Аристотеля о катарсисе (очищении) (см. «Поэтика», глава 6).

Стр. 80. *Сид* — герой одноименной трагедии Корнеля (1636); вызывает на дуэль обидчика своего отца Дона Гомеса.

Стр. 81. *Нерон* — римский император (54—68).

*Веспасиан* — римский император (69—79). Эпизод, который упоминает Руссо, заимствован у римского историка Светония. В «Истории Двенадцати Цезарей» Светоний рассказывает, что Веспасиан навлек на себя сильное неудовольствие Нерона тем, что во время его пения то и дело выходил либо тут же начинал дремать.

*О благородные артисты Парижской Оперы!* — Об отношении Руссо к Парижской Опере см. «Письмо о французской музыке» (1753) и памфлет «Письмо оркестранта Королевской Музыкальной Академии товарищам по оркестру» (1753). Эти произведения Руссо вызвали гнев актеров и музыкантов оперы; Руссо едва не был избит ими и лишен права бесплатного посещения спектаклей.

Стр. 82. *Федра* — персонаж греч. мифологии. История преступной любви Федры к ее пасынку Ипполиту явилась темой многих античных и французских трагедий (Еврипид Ипполит увенчанный, Сенека Федра, Расин Федра, и др.).

*Медея* — персонаж греч. мифологии. История о том, как Медея убивает своих детей, чтобы отомстить покинувшему ее Язону, явилась темой многих античных и французских трагедий — (Еврипид Медея, Сенека Медея, Корнель Медея и др.).

*...утверждение, что человек по природе добр...*— Этот тезис Руссо выдвигает уже в «Рассуждении о науках и искусствах»; дальнейшее развитие он получил в предисловии к комедии «Нарцисс» и «Рассуждении о происхождении неравенства между людьми».

*Речь идет о красоте добродетели. Что бы ни говорили философы,*

*эта любовь у человека — врожденная и служит основой совести.* — Здесь — одно из коренных расхождений Руссо с французскими материалистами, которые вслед за Локком отрицали врожденность морального чувства у человека, считая добро и зло порождением не природы, а общества. Так Ламетри признает существование лишь относительной добродетели, связанной с обществом, получившей общественное признание. Такой же точки зрения придерживались и другие философы-материалисты. Гельвеций полемизировал с Руссо: «Если порок чужд природе человека, то ему чужда и добродетель. И то и другое являются и могут быть только приобретенными».

*В качестве иллюстрации могу назвать маленькую пьесу «Нанина»...* — «Нанина, или Побежденный предрассудок» (1749) — комедия Вольтера, в которой главный герой граф д'Ольбан влюбляется в простую крестьянку Нанину и в конце концов женится на ней.

Стр. 83. *Так плакал кровавый Сулла, слушая рассказ о чужих жестокостях.* — Сулла Луций Корнелий, с 82 по 79 г. римский диктатор, славился своей жестокостью. Согласно Плутарху, молодой Сулла отличался чувствительностью, легко плакал и смеялся (Плутарх Сулла, 30).

*Тиран Фер* Александр (IV в. до н. э.). — Этот эпизод из биографии Александра Ферского Руссо заимствовал у Плутарха (см. Пелопид, 31). Об этом же рассказывает и Монтень в 27 главе II книги «Опытов». У Плутарха и Монтеня, однако, говорится о том, что Александр Ферский плакал над Гекубой и Андромахой — персонажах трагедии Еврипида «Троянки», а не над Приамом и Андромахой, как пишет об этом Руссо.

*Тацит сообщает...* — Рассказ о Мессалине и Валерии Азиатском в первоначальном тексте отсутствовал. Впервые появился он в издании 1782 г. Рассказ этот заимствован из второй главы одиннадцатой книги «Летописи».

*Валерий Азиатский* — римский политический деятель, с 46 г. консул, одно время пользовался расположением императора Клавдия, но, будучи несметно богат, пал жертвою корыстолюбия Мессалины.

Стр. 83. *Вителлий* Луций (I в.) — римский патриций, отец императора Вителлия. При Тиберии был проконсулом Сирии, воевал с парфянами. Позднее сумел войти в доверие Калигулы, затем Клавдия и жены его Мессалины.

*Диоген Лаэртций* — греческий историк конца II — начала III в., автор сочинения «Жизнь и мнения людей, прославившихся в философии», представляющего собою обзор древнегреческих философских учений. Рассуждение Диогена Лаэртция, которое имеет в виду Руссо, находится в книге, посвященной греческому философу Аристиппу (Диоген Лаэртций, Аристипп, 90).

Стр. 84. *Аббат Дюбос* (1670—1742) — историк и эстетик, бессменный секретарь Французской Академии.

*«Граф Эссекс»* (1678) — трагедия французского писателя Тома Корнеля, повествующая о заговоре и казни бывшего фаворита королевы Елизаветы графа Эссекса.

Стр. 85. *Мюра* Бeат-Луи (1665—1749) — швейцарский политический деятель и писатель. В своем главном сочинении «Письма об англичанах и французах» Мюра противопоставляет простоту патриархального уклада Швейцарии роскоши, царящей во Франции и Англии, и выражает опасение, как бы иностранное влияние не развратило добродетельные нравы швейцарцев. В книге Мюра есть специальное рассуждение о театре, которое имеет в виду Руссо. Имя Мюра упоминается и в других сочинениях Руссо, особенно часто в «Новой Элоизе».

Стр. 86. *Катилина*.— Имеется в виду главный герой трагедии французского писателя Кребильона (1674—1762) того же названия.

*Магомет* — здесь — герой трагедии Вольтера «Фанатизм, или Магомет-пророк» (1741).

*Атрей* — здесь герой трагедии Кребильона «Атрей и Фиест» (1707).

*...предпочел бы быть Нероном, а не Британником...*— здесь — герои трагедии Расина «Британник» (1669).

Стр. 87. *...как должны мы расценивать трагедию...*— Имеется в виду трагедия Кребильона «Катилина». Отметим, что критика Кребильона у Руссо во многом совпадает с тем, что писали о нем другие просветители. В частности, в трагедии Вольтера «Спасенный Рим», написанной на тот же сюжет, что и трагедия Кребильона «Катилина», на первый план выдвинут образ Цицерона, о котором с таким сочувствием говорит Руссо.

*...причем одно из них в последнем стихе трагедии...*— Имеется в виду Атрей в трагедии Кребильона «Атрей и Фиест».

Стр. 88. *Особенно та сцена, где они выведены вдвоем...*— Имеется в виду 5-я сцена II акта.

Стр. 88. *Омар... Зопир* — персонажи трагедии Вольтера «Магомет». *Омар* — приближенный Магомета, фанатически преданный ему. *Зопир* — положительный герой драмы, противопоставленный Магомету, носитель идей гуманности и религиозной терпимости.

*...закреть книги, взять в руки меч и покарать лжецов.*— Здесь обнаруживается принципиальное расхождение между Вольтером и Руссо. В статье «Фанатизм» Вольтер писал: «Нет другого средства против этой заразной болезни, кроме философии, которая, распространяясь, постепенно смягчает нравы...»

Стр. 89. *...что касается слащавого Плисфена...*— *Плисфен* — герой трагедии Кребильона «Атрей и Фиест», сын Фиеста, влюбленный в Теодамию, которая оказывается его сестрой. Следуя вкусам дворянской публики XVIII в., Кребильон ввел в античный сюжет любовную интригу.

*Роль Фиеста, быть может, самая античная по своему духу...*— Аристотель в «Поэтике» указывает на Фиеста как на образец трагического героя, который «не отличается особенной добродетелью и справедливостью и впадает в несчастье не по своей негодности и порочности, но по какой-нибудь ошибке» (гл. XIII).

Стр. 90. *Что можно извлечь из «Федры» и «Эдипа»...*— В данном случае речь идет, очевидно, о трагедии Расина «Федра» и о трагедии

Корнеля «Эдип». Сюжет «Эдипа» разрабатывался также Вольтером и Ламотт Ударом.

*Что можно извлечь из «Медеи»...*— Речь здесь, очевидно, идет о трагедии Корнеля «Медея».

*Сифакс, отравляющий жену...*— Сифакс — герой трагедии «Софонизба», сюжет которой разрабатывался Мере, Корнелем, позднее Вольтером. Руссо ошибочно приписывает Сифаксу отравление Софонизбы. Она была отравлена Массинисой, ее вторым мужем, не желавшим допустить, чтобы Софонизба стала рабыней Рима.

*...младший Гораций, закалывающий сестру...*— Имеется в виду герой трагедии Корнеля «Гораций» (1640), закалывающий свою сестру Камиллу, когда та проклинает бесчеловечный Рим.

*...Агамемнон, приносящий в жертву дочь...*— Имеется в виду греческий миф о жертвоприношении Агамемноном своей дочери Ифигении. На этот сюжет написаны трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» и трагедия Расина «Ифигения».

*...Орест, убивающий мать...*— Греческий миф об убийстве Орестом Клитемнестры лег в основу ряда античных и французских трагедий: «Хозфор» Эсхила, «Электры» Софокла, «Электры» Кребильона, «Ореста» Вольтера. Скорее всего Руссо в данном случае говорит о трагедии Кребильона.

*Один убивает отца, женится на матери...*— Речь идет об Эдипе.

*Другой добивается того, чтобы сын убил отца...*— Имеется в виду Магомет (герой одноименной трагедии Вольтера), требующий от преданного ему Сеида, чтобы тот убил Зомира, который является его отцом.

Стр. 90. *Третий заставляет отца выпить кровь сына.*— Подразумевается Атрей, заставляющий своего брата Фиеста выпить кровь его детей («Атрей и Фиест» Кребильона).

Стр. 93. *«Жизнь есть сон»* — знаменитая трагедия испанского драматурга Кальдерона. Но Руссо имеет здесь в виду итальянскую переделку этой трагедии, которая шла в Итальянском театре в 1717 г. и была затем издана с параллельным французским текстом в 1718 г.

Стр. 94. «Мизантроп» Мольера, действие I, явление I. Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник (Ж.-Б. Мольер, Собр. соч., Гослитиздат, М. 1957, т. 2, стр. 65); далее приводится то же издание.

Стр. 98. *Я уверен, что талантливый человек, воспользовавшись моей мыслью, мог бы создать нового «Мизантропа»...*— Эта идея Руссо была во многом осуществлена французским драматургом Фабром д'Эглантинном в его комедии «Филинт, или Продолжение Мизантропа» (1790).

Стр. 101. *Просто невероятно, что в самом центре Парижа, с разрешения полиции, дают комедию...*— Руссо далее излагает содержание двух последних актов комедии французского драматурга Реньяра «Единственный наследник» (1708).

Стр. 102. *Современные наши авторы, движимые лучшими намерениями, сочиняют более благоправные пьесы...*— Имеется в виду Детуш

(1680—1754) и в особенности Нивель де Ла Шоссе (1692—1754) — создатели жанра «слезной комедии».

Стр. 103. *Констанция* — персонаж драмы Дидро «Побочный сын» (1757).

*Сения* — героиня одноименной пьесы французской писательницы г-жи де Графиньи (1695—1758).

*Известно, какое применение дал Вергилий слову matres.*— Речь идет, очевидно, о пятой песне «Энеиды», где рассказывается о том, как троянские женщины, уставшие от бесконечных скитаний по морю в поисках новой родины и подстрекаемые Ирис, посланной богиней Юноной, поджигают корабли, чтобы заставить Энея остаться в Сицилии. Термин *matres* применяет Вергилий и в четвертой песне «Георгик» по отношению к женам Киконнов (*Ciconum matres*), которые в приступе вакхического экстаза разрывают на куски Орфея.

*...самая порядочная женщина — та, о которой меньше всего говорят.*— Это слова Перикла, которые приводит греч. историк Фукидид (см. Фукидид, кн. II, гл. 45).

Стр. 104. *Жеан де Сантре* — герой романа французского писателя XV в. Антуана де ла Сая «Маленький Жеан де Сантре» (1459). Руссо имеет в виду переработку этого романа, сделанную Трессаном (1724), в которой получили отражение нравы и вкусы французского дворянства XVIII в.

*Автор «Заиры» и «Нанины»* — Вольтер.

*...почтенный Лузиньян...*— персонаж трагедии Вольтера «Заира».

*...добрый Филипп Умберто...*— персонаж комедии Вольтера «Нанина».

Стр. 105. *Церковные авторы.*— Имеется в виду сочинение Боссюэ (1627—1704) «Максимы и размышления, касающиеся комедии».

Стр. 106. *Если патриций Манлий был изгнан из римского сената...*— Этот эпизод рассказан Плутархом в жизнеописании Катона Старшего «Сравнительные жизнеописания» (см. Плутарх, Катон Старший, 17).

Стр. 108. *«Памела»* — роман английского писателя Самюэля Ричардсона (1689—1761).

Стр. 110. *«Лондонский купец»* — полное название «Лондонский купец, или История Жоржа Барнвела» (1731) — пьеса англ. драматурга Лилло (1693—1739), один из первых образцов нового жанра буржуазной драмы. В переводе на франц. язык «Лондонский купец» появился в 1748 г. Руссо мог слышать об этой драме от Дидро и Гримма.

Стр. 114. *Риваз Пьер* (1711—1772) — часовой мастер, внес ряд усовершенствований в часовой механизм, которые получили одобрение Французской Академии наук. Риваз занимался также математикой и изучением древностей.

Стр. 115. *Гудимель Клод* (ок. 1505—1572) — франц. музыкант и композитор, был убит в Лионе после Варфоломеевской ночи.

Стр. 118. *...дело в том, чтобы, по примеру Солона, дать народу законы не столько превосходные сами по себе, сколько наиболее подходя-*

щие для него в данном положении.— В «Жизнеописании Солона» Плутарх пишет: «Поэтому, когда его спросили впоследствии, хорошие ли законы он дал афинянам, он отвечал: «Лучшие из тех, которые они могли принять». Очевидно, это место из Плутарха имеет в виду Руссо.

*Эфоры* — коллегия из пяти должностных лиц в Спарте, избиралась ежегодно. Обычай, о котором говорит Руссо, упоминается у Плутарха в жизнеописании Ликурга.

Стр. 119. ...ни один гражданин и ни один горожанин не переступили бы его порога.— О различии, существовавшем между гражданами (citoyens) и горожанами (bourgeois), пишет в статье «Женева» д'Аламбер. «Граждане (citoyens) являются сыновьями горожан (bourgeois), родившимися в Женеве; горожане — сыновья горожан или граждан, но родившиеся за границей».

...это трибунал маршалов Франции...— Трибунал маршалов, учрежденный в 1651 г., мог за участие в дуэлях налагать денежные штрафы, производить конфискацию имущества, заключать в тюрьму и даже карать смертной казнью.

Стр. 123. ...чтобы он мог сослаться на пример самого короля, который выбросил свою трость в окно...— Руссо имеет в виду эпизод из жизни Людовика XIV, рассказанный Сен-Симоном в его мемуарах (см. Сен-Симон, Мемуары, XIX).

*Лозен* — Антуан Лозен (1632—1723) — герцог, приближенный Людовика XIV.

Стр. 125. *Консистерия и Палата реформ.*— *Консистерия* — орган Женевской республики, ведавший «нравственностью населения» и осуществлявший ее проверку. *Палата реформ* — избиралась из числа членов Малого совета — государственного органа Женевской республики, которому принадлежала высшая административная власть. В функции Палаты реформ входило наблюдение за выполнением законов, направленных против роскоши.

Стр. 126. *Если англичане похоронили знаменитую Олдфилд рядом со своими королями...*— *Олдфилд* — известная английская актриса (1683—1730). В «Философских письмах» Вольтер рассказывал о том, как Олдфилд была торжественно похоронена в Вестминстере. Похороны Олдфилд Вольтер противопоставлял судьбе французской актрисы Андриенны Лекуврер, тело которой было выброшено на свалку. Руссо здесь полемизирует с Вольтером.

Стр. 127. *Тит Ливий говорит... что театральные зрелища были введены в Риме в 390 г. по случаю чумы...*— Римский историк Тит Ливий (59 до н. э.— 17 н. э.) — рассказывает, что «так как ни человеческие соображения, ни помощь богов не ослабили силы болезни, то суеверие объяло умы и заставило, как говорят, в числе других мер, дабы умиловить небесный гнев, прибегнуть к учреждению сценических игр — делу, новому для воинственного народа; до этого зрелища ограничивались только конскими бегами» (Тит Ливий, Римская история от основания города, кн. VII, гл. 2).

*Эзоп* Клодий — древнеримский актер, современник и друг Цицерона (106—43 до н. э.). Эзоп исполнял главным образом трагические роли.

*Росций* Квинт — известный древнеримский комический актер (ок. 130—ок. 62 до н. э.). Оставил книгу о театральном искусстве.

*...в своей речи в защиту последнего, он жалеет, что такой порядочный человек занимается таким дурным ремеслом.*— О том, что такому «блестящему художнику» и такому «блестящему человеку», как Росций, «меньше всего следовало бы выступать перед зрителями», Цицерон говорит в речи в защиту Квинция (гл. 25), а не в защиту Росция, как пишет об этом Руссо.

*...римская молодежь... публично выступала после больших пьес в ателланах или эксодах.*— *Ателланы* — комические пьески-импровизации с постоянными характерными масками, заимствованные римлянами от жителей Кампании — осков и получившие свое название в насмешку над городом Ателла, разрушенным римлянами в 211 г. до н. э. за его измену Риму и переход на сторону Ганнибала. По поводу ателлан историк Тит Ливий писал, что «римская молодежь удержала этот род игр, заимствованный от осков, и не допустила, чтобы он был осквернен гистрионами (кн. VII, гл. 2). *Эксоды* — по поводу эксодов Тит Ливий писал: «Молодые люди, предоставив гистрионам играть пьесы, стали между собою перекидываться, по древнему обычаю, шутками в стихотворной форме. Эти представления были названы впоследствии эксодами (Тит Ливий, VII, гл. 2).

*За этим исключением мы видим, что актеры повсюду одинаково были рабами....*— Это утверждение Руссо не соответствует действительности. Тит Ливий, на которого опирается Руссо, говорит, что актеры в Риме были лишены политических прав и к военной службе не допускались, но из этого не следует, что они были рабами.

Стр. 128. *Эти великолепные, грандиозные зрелища, устраиваемые под открытым небом, перед лицом всего народа...*— Восторг Руссо перед греческим театром перекликается с тем, что писал о греческом театре Дидро в «Беседах о Побочном сыне». «Какая разница,— восклицал Дидро,— между тем, чтобы забавлять в такой-то день от такого-то часа в тесном помещении несколько сот человек, с тем чтобы приковывать внимание всей нации в ее торжественные дни, занимать самые пышные здания и видеть их окруженными и набитыми неисчислимой толпой, чье веселье или скука зависит от нашего таланта».

*...а Спарте, не допускавшей у себя театра...*— Утверждение не соответствует действительности. На это указал уже Руссо г-н Леруа, член Академии надписей. Руссо поблагодарил его и обещал внести исправление (см. письмо Руссо к Леруа от 4 ноября 1758 г.).

Стр. 130. *Тут усматривают преувеличение и нелепость...*— Это примечание впервые появилось в издании 1782 г.

Стр. 131. *Воксхол* — парк в предместьях Лондона, излюбленное место великосветских прогулок.

До сих пор ни на одном языке не написан еще роман, равный «Клариссе», или хотя бы приближающийся к ней.— Кларисса — полное название «Кларисса Гарлоу» (1749) (франц. перевод, 1751) — роман английского писателя Самюэля Ричардсона. В словах Руссо намек на «Новую Элоизу» (он работал над ней как раз в это время), написанную под влиянием Ричардсона и одновременно в полемике с ним.

Стр. 132. *«Но бог сказал: конца твоим вопросам нет...»* — См. Вольтер «Рассуждение в стихах о человеке» (1737) (Рассуждение шестое).

Стр. 135. *Ссылка на пример животных неубедительна и неправильна.*— Руссо полемизирует с Гоббсом и Ламетри, уподоблявшими человека животному. В рассуждении Руссо о том, что с развитием общественных отношений чувства человека приобретают нравственное содержание,— зародыш тех идей, которые получают дальнейшее развитие в «Общественном договоре».

Стр. 136. *Нет, резвая Галатя действовала не более удачно, а Вергилий мог бы найти на голубятне одну из самых прелестных своих картин.*— Имеется в виду следующее место из «Буколик» Вергилия:

«Девушка резвая, яблоко бросив в меня, Галатя  
В ветлы бежит, но жаждет, чтоб я ее раньше увидел».

(Эклога III, стих 65.)

Стр. 137. *Но случай с Валерией и Суллой как будто говорит о том, что в Римском цирке они сидели среди мужчин.*— Руссо имеет в виду эпизод из жизни римского диктатора Суллы, рассказанный у Плутарха. «Через несколько месяцев,— рассказывает Плутарх,— проходили гладиаторские игры, и случайно — так как места в театре не были еще разделены и мужчипы и женщины сидели вперемежку — неподалеку от Суллы сидела женщина замечательной красоты и знатного рода, дочь Мессалы, сестра оратора Гартензия, по имени Валерия... Проходя за спиною Суллы, она коснулась его рукой, оторвала шерстинку от его тоги и направилась к своему месту. Сулла окинул ее удивленным взглядом: «Пустое, диктатор, я просто хочу хоть на волос стать участницей твоей счастливой доли». Сулла выслушал это не без удовольствия и был, по-видимому, тотчас же задет». Через некоторое время Сулла женился на Валерии.

Стр. 137. *...вопреки злым шуткам Геродота...*— Имеется в виду следующий рассказ древнегреческого историка Геродота (ок. 484—425 до н. э.): «Как небо над египтянами отличается особенными свойствами и река их по своей природе отличается от всех прочих рек, так, подобно этому, почти все нравы и обычаи египтян противоположны нравам и обычаям остальных народов. Женщины у них посещают площадь и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут... мужчины их носят тяжести на головах, женщины на плечах» (История, кн. II, гл. 35).

«Лизистрата» (411 до н. э.) — пьеса великого древнегреческого комедиографа Аристофана (ок. 446—385 до н. э.).



*А в Риме, уже развращенном, какой скандал вызвало появление римских дам перед триумвирами!*— Руссо, вероятно, имеет в виду рассказ Тита Ливия о выступлении римских матрон во время консульства Катона Старшего с требованием отменить закон Опция, в силу которого женщинам запрещалось иметь золота больше полунции, носить разноцветные платья, ездить в парном экипаже и т. д. В защиту этого закона выступил Катон. Возмущенный проявлением женского своволия, он отстаивал патриархальные устои римской семьи, где женщина находилась под властью отца, а затем мужа (см. Тит Ливий, Римская история от основания города, кн. XXXIV, гл. 2—4).

Стр. 138. *«Беседа о Побочном сыне».*— Произведение Дидро; во второй беседе имеется рассуждение о красоте актрис. Дорваль, выражающий мысли Дидро, считает, что в драматическом искусстве и без того достаточно условностей, чтобы разрешать уродству разыгрывать роль красоты.

Стр. 139. *«Из можно было бы тут целых три назвать...»* — стихи из X сатиры Буало («О женщинах»). Речь идет о том, что в Париже можно насчитать всего лишь трех верных жен.

Стр. 141. *Вижу, что Париж... имеет три постоянных театра в довольно убогом состоянии, а четвертый лишь в отдельные сезоны.*— Три постоянных театра: Французский театр, Итальянский театр, Опера; четвертый — «Ярмарочный театр».

Стр. 142. *...никогда Клеопатра и Ксеркс не примут нашей простоты.*— Клеопатра (51—30 до н. э.) — египетская царица, знаменитая своей красотой, покорившей Цезаря и Антония, воевавших против Египта. Клеопатра — один из излюбленных образов мировой литературы. Руссо были известны посвященные Клеопатре трагедии Жоделя (1552), Мере (1630), Шапеля (1680), Мармонтеля (1750). Не исключено, что Руссо имеет в виду другую Клеопатру — героиню трагедии Корнеля «Радогуна» (1645), одержимую страшным честолюбием. Ксеркс — царь Персии (486—465 до н. э.). Здесь, вероятно, герой одноименной трагедии Кребиллона (1714).

Стр. 142. *...я сомневаюсь, чтобы хороший актер когда-нибудь согласился стать квакером.*— Квакеры — английская религиозная секта, основанная Джорджем Фоксом в период революции (1647). Квакеры отвергали официальную церковную организацию и внешнюю обрядность, выступали против роскоши. В своем поведении и манере одеваться квакеры придерживались суровой простоты: мужчины носили широкополые шляпы и темную одежду без пуговиц, женщины — черную мантилью и зеленый фартук.

Стр. 143. *Мы слишком хорошо научены, какое ей можно дать употребление...*— Намек на события 1602 г., когда в ночь на 20—21 декабря герцог Савой Карл Эммануэль сделал попытку ворваться в Женеву. В истории эта попытка известна под названием «Эскалады».

*...находящуюся среди трех держав...*— Франция, Савоя, Берн.

Стр. 145. *Таким, например, был в Лондоне обычай котерий, столь*

неосновательно осмеянных авторами «Зрителя». — «Зритель» — английский сатирико-нравоучительный журнал, издаваемый Р. Стилем (1672—1729) и Д. Аддисоном (1672—1719). Журнал выходил с марта 1711 до декабря 1712 г., а затем в 1714 г. Известно несколько франц. переводов этого журнала (Амстердам — 1716—1718; Париж — 1716—1726, перевод в трех томах, 1755). Во втором номере журнала давались юмористические портреты шести вымышленных членов клуба, собиравшихся вокруг «Зрителя». В другом из номеров высмеивались котерии, как собрания, где люди проводят время за едой, питьем, пустой болтовней и сплетнями.

...наши общественные разногласия... — Речь идет о волнениях в Женеве в 1734 г.

Стр. 147. Кто бы подумал, что эту шутку... — Эта фраза впервые появилась в издании 1782 г.

Камбиз — древнеперсидский царь (529—523 до н. э.), завоевавший в 525 г. Египет.

Псамметих. — Имеется в виду египетский фараон Псамметих III, при котором Египет был покорен персами в 525 г. до н. э. Эпизод, о котором упоминает Руссо, рассказан в 12 главе III книги «Истории» Геродота. Об этом же говорится и у Монтеня (см. «Опыты» т. I, гл. XXXV).

Много времени спустя Геродот имел возможность лично убедиться в этой разнице. — Руссо имеет в виду следующее место из «Истории» Геродота: «Нечто подобное наблюдал я в Папремисе, где вместе с Ахемесом, сыном Дария истреблены были персы Инаросом, ливийским царьком» (кн. III, гл. 12).

Стр. 148. Оба Катона. — Катон Старший — Марк Порций (234—149 до н. э.); с 184 г. — цензор. Катон Младший — Марк Порций Утический (95—46 до н. э., правнук Катона-цензора) — вождь республиканской партии. 62 г. — народный трибун. Во время гражданской войны поддерживал Помпея. Узнав о победе Цезаря, покончил с собой.

Оттон Марк Сальвий (32—69). — В 69 г. был провозглашен римским императором. Потерпев поражение от другого претендента на императорскую власть, Вителлия, покончил с собой.

Стр. 149. Сапфо — греч. поэтесса (VI в. до н. э.).

...еще одну поэтессу оказалось возможным признать исключением... — Очевидно, имеется в виду возлюбленная французского философа Абельяра — Элоиза (1101—1164). Трагическая история ее любви к Абельяру волновала Руссо. Недаром свой роман он назвал «Новая Элоиза».

Готов биться об заклад, что «Португальские письма» написаны женщиной. — «Португальские письма» (1669), как это выяснилось в начале XIX в., были написаны женщиной, португальской монахиней Марианной Алькафорада к ее возлюбленному — французскому графу Шамили. Интерес Руссо к «Португальским письмам» связан с его работой над романом «Новая Элоиза».

Стр. 152. Нетрудно заметить, что рукопись, о которой идет речь, — это «Новая Элоиза», появившаяся через два года после данной работы. — Фраза впервые появилась в изд. 1782 г.

Стр. 153. *В мире физическом нет ничего абсолютно дурного: там все в целом добро.*— Эта фраза направлена против Вольтера. Полемизируя с Вольтером по поводу поэмы последнего «О разрушении Лисабона» (см. письмо от 8 августа 1756 г.), Руссо доказывал, что источником зла является не природа, а злоупотребление человека своими способностями.

Стр. 156. *В мое последнее посещение Женевы...*— Руссо был в Женеве в 1754 г.

Стр. 158. *...в дни третней надбавки.*— В случае большого успеха пьесы цены на билеты могли увеличиваться на одну треть.

*Боден Жан* (1530—1596) — франц. политический мыслитель, идеолог абсолютизма, автор труда «Шесть книг о государстве» (1576).

Стр. 159. *Великий Сюлли.*— *Сюлли* Максимильян (1559—1641) — герцог, политический деятель, министр финансов при Генрихе IV.

Стр. 160. *Платон изгонял Гомера из своей республики...*— См. Платон, Государство, кн. III, 358.

Стр. 162. *...но тому, кто знал настоящую любовь и умел победить ее— о, простим этому смертному, если только он существует, его притязания на добродетель.*— «Этот смертный» — сам Руссо. Здесь намек на его любовь к г-же Удето. Хотя г-жа Удето любила поэта Сен-Ламбера и осталась верной ему, Руссо охотно убеждал себя в том, что он сам принес любовь в жертву добродетели.

Стр. 163. *...мы почтим его как мужа дивного...*— Комментаторы считают, что «дивный муж», которого Платон считает необходимым изгнать из своего идеального государства,— это Гомер.

*Бертелье и Леврери* — Филибер Бертелье и Жан Леврери — женеvские патриоты, участники борьбы против Савойского герцога Карла III в 1517 г.

*Фавоний* Марк (I в.) — римлянин, поклонник Катона Утического, стремившийся во всем подражать ему.

Стр. 164. *...в театре был предрешен... вопрос... о смерти Сократа.*— Руссо, вероятно, имеет в виду комедию Аристофана «Облака», направленную против Сократа.

*...вполне оправдали скорбь, испытанную Солоном на первых представлениях трагедии Феспиды.*— *Феспид* — первый трагический поэт Афин; Руссо имеет в виду следующий рассказ Плутарха: «После представления Солон разговаривал с ним (Феспидом — В. Б.) и спросил его, неужели ему не стыдно так нагло врать в присутствии громадной толпы. Феспид отвечал, что в его словах и действиях нет ничего дурного, так как их следует рассматривать как забаву. Тогда Солон сильно ударил палкой о землю и сказал: «В настоящее время нам нравятся эти шутки, мы в восторге от них, но скоро станем принимать за шутку все наши обязанности» (Плутарх, «Солон»).

*Но пусть г. Вольтер соблаговолит писать для нас трагедии по образцу «Смерти Цезаря» или первого действия «Брута»...*— Римские трагедии Вольтера «Смерть Цезаря» и «Брут» привлекали Руссо образом героя-гражданина, жертвующего всем личным во имя свободы Рима.